МИХ. ЗОЩЕНКО

НЕРВНЫЕ ЛЮДИ

★

1928

M

МИХ. ЗОЩЕНКО

НЕРВНЫЕ ЛЮДИ

МИФЪ, РИГА
1928

Типографія „РЕКОРДЪ“
Рига, Елизаветинская № 22
:-: Телефонъ 2-6-6-3-6. :-:

НЕРВНЫЕ ЛЮДИ.

Недавно въ нашей коммунальной квартирѣ драка произошла. И не то, что драка, а цѣльный бой. На углу Глазовой и Боровой.

Дрались, конечно, отъ чистаго сердца. Инвалиду Гаврилову послѣднюю башку чуть не оттяпали.

Главная причина — народъ очень ужъ нервный. Разстраивается по мелкимъ пустякамъ. Горячится. И черезъ это дерется грубо, какъ въ туманѣ.

Оно, конечно, послѣ гражданской войны нервы, говорятъ, у народа завсегда расшатываются. Можетъ, оно и такъ, а только у инвалида Гаврилова отъ этой идеологіи башка поскорѣе не зарастетъ.

А приходитъ, напримѣръ, одна жиличка, Марья Васильевна Щипцова, въ девять часовъ вечера на кухню и разжигаетъ примусъ. Она всегда, знаете, объ это время разжигаетъ примусъ. Чай пьетъ и компрессы ставитъ.

Такъ приходитъ она на кухню. Ставитъ примусъ передъ собой и разжигаетъ. А онъ, провались совсѣмъ, не разжигается.

Она думаетъ:

«Съ чего бы онъ, дьяволъ, не разжигается? Не закоптѣлъ ли, провались совсѣмъ!»

И беретъ она въ лѣвую руку ежикъ и хочетъ чистить.

Хочетъ она чистить, беретъ въ лѣвую руку ежикъ, а другая жиличка, Дарья Петровна Кобылина, — чей ежикъ, посмотрѣла, чего взято, и отвѣчаетъ:

— Ежикъ-то, уважаемая Марья Васильевна, промежду прочимъ, назадъ положьте.

Щипцова, конечно, вспыхнула отъ этихъ словъ и отвѣчаетъ:

— Пожалуйста, отвѣчаетъ, подавитесь, Дарья Петровна, своимъ ежикомъ. Мнѣ, говоритъ, до вашего ежика дотронуться противно, не то что его въ руку взять.

Тутъ, конечно, вспыхнула отъ этихъ словъ Дарья Петровна Кобылина.

Стали они между собой разговаривать. Шумъ у нихъ поднялся, грохотъ, трескъ.

Мужъ, Иванъ Степанычъ Кобылинъ, чей ежикъ, на шумъ является. Здоровый такой мужчина, пузатый даже, но, въ свою очередь, нервный.

Такъ является этотъ Иванъ Степанычъ и говоритъ:

— Я, говоритъ, ну ровно слонъ работаю за тридцать два рубля съ копѣйками въ коопераціи, улыбаюсь, говоритъ, — покупателямъ и колбасу имъ отвѣшиваю, и изъ этого, говоритъ, — на трудовые гроши ежики себѣ покупаю, и нипочемъ, то-есть, не разрѣшу постороннему чужому персоналу этими ежиками воспользоваться.

Тутъ снова шумъ и дискуссія поднялись вокругъ ежика. Всѣ жильцы, конечно, поднаперли въ кухню. Хлопочутъ. Инвалидъ Гаврилычъ тоже является.

— Что это, — говоритъ, — за шумъ, а драки нѣту?

Тутъ сразу послѣ этихъ словъ и подтвердилась драка. Началось.

А кухонька, знаете, узкая. Драться неспособно. Тѣсно. Кругомъ кастрюли и примуса. Повернуться негдѣ. А тутъ двѣнадцать человѣкъ вперлось. Хочешь, напримѣръ, одного по харѣ смазать — троихъ кроешь. И, конечное дѣло, на все натыкаешься, падаешь. Не то что, знаете, безногому инвалиду — съ тремя ногами устоять на полу нѣтъ никакой возможности.

А инвалидъ, чортова перечница, несмотря на это, въ самую гущу вперся. Иванъ Степанычъ, чей ежикъ, кричитъ ему:

— Уходи, Гаврилычъ, отъ грѣха. Гляди, послѣднюю ногу оборвутъ.

Гаврилычъ говоритъ:

— Пущай, говоритъ, нога пропадаетъ! А только, говоритъ, не могу я теперича уйти. Мнѣ, говоритъ, сейчасъ всю амбицію въ кровь разбили.

А ему, дѣйствительно, въ эту минуту кто-то по мордѣ съѣздилъ. Ну, и не уходитъ, накидывается. Тутъ въ это время кто-то и ударяетъ инвалида кастрюлькой по кумполу.

Инвалидъ — брыкъ на полъ и лежитъ. Скучаетъ.

Тутъ какой-то паразитъ за милиціей кинулся.

Является мильтонъ. Кричитъ:

— Запасайтесь, дьяволы, гробами, сейчасъ стрѣлять буду!

Только послѣ этихъ роковыхъ словъ народъ маленько очухался. Бросился по своимъ комнатамъ.

«Вотъ-те, думаетъ, клюква, съ чего жъ это мы, уважаемые граждане, разодрались»?

Бросился народъ по своимъ комнатамъ, одинъ только инвалидъ Гаврилычъ не бросился. Лежитъ, знаете, на полу скучный. И изъ башки кровь каплетъ.

Черезъ двѣ недѣли послѣ этого факта судъ состоялся.

А нарсудья тоже нервный такой мужчина попался — прописалъ ижицу.

ЧЕТЫРЕ ДНЯ.

Германская война и разные тамъ окопчики — все это теперь, граждане, на насъ сказывается. Всѣ мы черезъ это нездоровые и больные.

У кого нервы расшатавши, у кого брюхо какъ-нибудь сводитъ, у кого органъ не такъ аритмично бьется, какъ это хотѣлось бы. Всѣ эти результаты.

На свое здоровье, конечно, пожаловаться я не могу. Здоровъ. И жру ничего. И сонъ невредный. Однако, каждую минуту остерегаюсь, что эти окопчики и на мнѣ скажутся.

Тоже вотъ не очень давно всталъ я съ постели. И надѣваю, какъ сейчасъ помню, сапогъ. А супруга мнѣ говоритъ:

— Что-то, говоритъ, ты, Ваня, сегодня съ лица будто такой сѣрый. Нездоровый, говоритъ, такой у тебя цвѣтъ бордо.

Поглядѣлъ я въ зеркалю. Дѣйствительно, — цвѣтъ отчаянный бордо и морда кирпича проситъ.

«Вотъ те, думаю, клюква! Сказываются окопчики. Можетъ, у меня сердце или тамъ еще какой-нибудь важный органъ не такъ хорошо бьется. Оттого, можетъ, я и сѣрѣю».

Пощупалъ пульсъ — тихо, но работаетъ. Однако, какія-то боли изнутри пошли. И ноетъ что-то.

Грустный такой я одѣлся и, не покушавъ чаю, вышелъ на работу.

Вышелъ на работу. Думаю — ежели какой чортъ скажетъ мнѣ насчетъ моего вида или цвѣта лица — схожу

обязательно къ доктору. Мало ли — живетъ, живетъ человѣкъ и вдругъ, хлопъ — помираетъ. Сколько угодно.

Безъ пяти одиннадцать, какъ сейчасъ помню, подходитъ до меня старшій мастеръ Житковъ и говоритъ:

— Иванъ Федоровичъ, голубчикъ, да что съ тобой? Видъ, говоритъ, у тебя сегодня черезчуръ отчаянный. Нездоровый, говоритъ, у тебя, землистый видъ.

Эти слова будто мнѣ по сердцу полоснули.

«Пошатнулось, думаю, мать честная, здоровье. Допрыгался», думаю.

И снова стало ныть у меня внутри, мутить. Еле, знаете, до дому доползъ. Хотѣлъ даже скорую помощь вызвать.

Доползъ до дому. Свалился на постель. Лежу. Жена реветъ, горюетъ. Сосѣди приходятъ, охаютъ.

— Ну, — говорятъ, — и видикъ у тебя, Иванъ Федоровичъ. Ничего не скажешь. Не личность, а форменное бордо.

Эти слова еще больше меня растравляютъ. Лежу плюшкой и спать не могу.

Утромъ встаю разбитый, какъ сукинъ сынъ. И велю поскорѣй врача пригласить.

Приходитъ коммунальный врачъ и говоритъ: симуляція.

Чуть я за эти самыя слова врача не убилъ.

— Я, — говорю, — покажу, какая симуляція. Я, говорю, сейчасъ, можетъ быть, разорюсь на троякъ и къ самому профессору сяду и поѣду.

Сталъ я собираться къ профессору. Надѣлъ чистое бѣлье. Сталъ бриться. Провелъ бритвой по щекѣ, мыло стеръ — гляжу — щека бѣлая, здоровая и румянецъ на ей играетъ.

Сталъ поскорѣй физію тряпочкой тереть — гляжу, начисто сходитъ сѣрый цвѣтъ бордо.

Жена приходитъ, говоритъ:

— Да. ты, небось, Ваня, недѣлю рожу не полоскалъ?

Я говорю:

— Недѣлю, этого быть не можетъ — тоже хватила, дура какая. Но, говорю, дня четыре, это, пожалуй, дѣйствительно вѣрно.

А главное, на кухнѣ у насъ холодно и неуютно. Прямо мыться вотъ какъ не охота. А когда стали охать да ахать — тутъ ужъ и совсѣмъ, знаете ли, не до мытья. Только бы до кровати доползти.

Сію минуту помылся я, побрился, галстукъ прицѣпилъ и пошелъ свѣженькій, какъ огурчикъ, къ своему пріятелю.

И боли сразу будто ослабли. И сердце ничего себѣ бьется.

НА ПОСТУ.

Очень худая профессія у врачей. Главное — паціентъ нынче пошелъ довольно грубоватый. Не стѣсняется. Чуть что не понялъ — драться лѣзетъ, или вообще убиваетъ врача какимъ-нибудь предметомъ.

А врачъ, можетъ, человѣкъ интеллигентный, не любитъ, можетъ, чтобъ его убивали. Отъ этого, можетъ, онъ нервничаетъ.

А только у насъ въ пріемномъ покоѣ привычки такой нѣтъ, чтобы врачей убивать. У насъ, можетъ, съ начала революціи безсмѣнно на посту одинъ врачъ стоитъ. Ни разу его не убили.

Фельдшера, дѣйствительно, разъ отвозили по мордѣ, а врача пальцемъ не тронули. Онъ за ширмой былъ спрятавшись.

А что одинъ разъ нашего врача шибко напугали, такъ въ этомъ порока нѣту. Это случайно произошло. Да къ тому же врачъ у насъ вообще былъ довольно пугливый интеллигентъ. Бывало, паціента трубкой ковырнетъ и отбѣжитъ въ сторонку, этакъ шаговъ на сорокъ. И оттуда разговариваетъ. Довольно осторожный былъ интеллигентъ.

А когда Григорій Ивановичъ Веревкинъ явился на пріемъ, такъ врачъ уже былъ насторожившись нервно.

А приперся Григорій Ивановичъ на пріемъ по срочному дѣлу. Надо ему было то-есть до полнаго зарѣзу въ отпускъ ѣхать. Въ деревню. Батька его требовалъ.

Вотъ онъ приперся, разоблачился и стоитъ передъ врачемъ, въ чемъ мама родила. И думаетъ: «Хорошо бы, думаетъ, этого интеллигента недѣльки на двѣ опутать».

А врачъ, конечно, ковырнулъ его трубкой по брюху и отбѣжалъ за шкафикъ. И оттуда мямлитъ:

— Нѣту, молъ, объективныхъ болѣзней. Одѣвайтесь.

А Григорій Ивановичъ разстроился и говоритъ ему съ сердцемъ:

— Ты, говоритъ, дядя, хорошо меня слушай, а не ковыряй зря трубкой. Я, говоритъ, и самъ ковырнуть могу.

Врачъ, конечно, разстроился и снова сталъ слушать. Послѣ отошелъ за шкафикъ и говоритъ:

— Ей-Богу, говоритъ, вотъ вамъ крестъ — ничего такого нѣту. Одѣвайтесь.

Сталъ Григорій Ивановичъ одѣваться. Одѣвается.

И, конечно, у Григорія Ивановича, у голубчика и въ мысляхъ не было врача, напримѣръ, убить или фельдшера стукнуть. А просто-напросто разстроился человѣкъ, что отпускъ у него рухнулъ. И въ разстройствѣ чувствъ даже сплюнулъ въ сторону. Даже руку въ карманъ сунулъ, хотѣлъ платокъ достать — высморкаться для полнаго успокоенія.

И только онъ руку въ карманъ сунулъ — крики.

Врачъ, конечно, кричитъ: убиваютъ. Фельдшеръ махаетъ рукой, народъ кличетъ.

Тутъ прибѣжалъ народъ, схватилъ Григорія Ивановича Веревкина, держитъ.

Веревкинъ говоритъ:

— Да что вы, братцы-сестрицы, очумѣли, что ли?

А фельдшеръ, зараза, отвѣчаетъ:

— Онъ руку сейчасъ въ карманъ сунулъ, хотѣлъ, можетъ, насъ, обоихъ медиковъ, заразъ трахнуть.

Стали Григорія Ивановича обыскивать, а только ничего такого, кромѣ махорки, не нашли.

А что про платокъ Григорій Ивановичъ говорилъ, будто онъ хотѣлъ въ платокъ интеллигентно высморкаться, то вретъ. Платка у него тоже не нашли.

Небось, просто такъ онъ сунулъ руку въ карманъ. А въ этотъ моментъ и закричали.

Только напрасно закричали. У насъ вообще привычки нѣтъ врачей убивать. Пущай живутъ. Жалко что ли?

БОЧКА.

Вотъ, братцы, и весна наступила. А тамъ, глядишь, и лѣто скоро. А хорошо, товарищи, лѣтомъ! Солнце печетъ. Жарынь. А ты ходишь этакимъ чортомъ безъ валенокъ въ однихъ порткахъ и дышишь. Тутъ же гдѣ-нибудь птичечки порхаютъ. Букашки куда-нибудь стремятся. Червячки чирикаютъ. Хорошо, братцы, лѣтомъ.

Хорошо, конечно, лѣтомъ, да не вовсе.

Года два назадъ работали мы по красной коопераціи. Такая струя въ нашей жизни подошла. Пришлось у прилавка постоять.

Такъ для красной коопераціи, товарищи, нѣтъ, знаете, ничего гаже, когда жарынь. Продуктъ-то вѣдь портится. Тухнетъ продуктъ, ай нѣтъ? Конечное дѣло, тухнетъ. А ежели онъ тухнетъ, есть отъ этого убытки красной коопераціи? Есть.

А тутъ, можетъ, наряду съ этимъ лозунгъ брошенъ — режимъ экономіи. Ну, какъ это совмѣстить, дозвольте васъ спросить?

Нельзя же, граждане, съ такимъ полнымъ эгоизмомъ подходить къ явленіямъ природы и радоваться и плясать, когда наступаетъ теплѣе. Надо же, граждане, и объ общественной пользѣ позаботиться.

А помню, граждане, у насъ въ кооперативѣ спортилась капуста, стухла, извините за такое сравненіе.

И мало того, что отъ этого прямой у насъ убытокъ красной коопераціи, такъ тутъ еще накладной расходъ. Увозить, оказывается, надо этотъ спорченный продуктъ. У тебя же, значитъ, испортилось, ты же на это еще и денежки свои докладывай. Вотъ обидно!

А бочка у насъ стухла громадная. Этакая бочища, пудовъ, можетъ, на восемь. А ежели на килограммы, такъ и счету нѣтъ. Вотъ какая бочища!

И отъ нея скучный душокъ пошелъ — гробъ.

Завѣдующій нашъ, Иванъ Федоровичъ, отъ этого духа прямо смыслъ жизни потерялъ. Ходитъ и нюхаетъ.

— Кажись, — говоритъ, — братцы, — разитъ?

— Не токмо, — говоримъ, — Иванъ Федоровичъ, разитъ, а прямо пахнетъ.

И запашокъ, дѣйствительно, надо сказать, острый былъ. Прохожій человѣкъ по нашей сторонѣ ходить даже остерегался. Потому съ ногъ валило.

И надо бы эту бочечку поскорѣе увезти куда-нибудь къ чортовой бабушкѣ, да завѣдующій, Иванъ Федоровичъ, мнется. Все-таки денегъ ему жалко. Подводу надо нанимать, пятое, десятое. И везти къ чорту на рога за весь городъ. Все-таки завѣдующій и говоритъ:

— Хоть, говоритъ, и жалко, братцы, денегъ и процентъ, говоритъ, у насъ отъ этого ослабнетъ, а придется увезти этотъ боченокъ. Духъ ужъ очень тяжелый.

А былъ у насъ такой приказчикъ, Васька Веревкинъ. Такъ онъ и говоритъ:

— А на кой кляпъ, товарищи, боченочекъ этотъ вывозить и тѣмъ самымъ народные соки-денежки тратить и проценты себѣ слабить? Нехай выкатимъ этотъ боченокъ во дворъ. И подождемъ, что къ утру будетъ.

Выперли мы бочечку на дворъ. На утро являемся — бочка чистая стоитъ. Сперли за ночь капусту.

Очень мы, работники кооперативные, отъ этого факта повеселѣли. Работа прямо въ рукахъ кипитъ — такой подъемъ наблюдается. Завѣдующій нашъ, голубчикъ Иванъ Федоровичъ, ходитъ и ручки свои третъ.

— Славно, — говоритъ, — товарищи, пущай теперь хоть весь товаръ тухнетъ, завсегда такъ дѣлать будемъ.

Вскорѣ стухла еще у насъ одна бочечка. И кадушка съ огурцами.

Обрадовались мы. Выкатили это добро на дворъ и калиточку пріоткрыли малость. Пущай, дескать, повиднѣй съ улицы. И валяйте, граждане!

Только на этотъ разъ мы проштрафились. Не только у насъ капусту уволокли, а и бочку, черти, укатили. И кадушечку слямзили.

Ну, а въ слѣдующіе разы спорченный продуктъ мы на рогожку вываливали. Такъ съ рогожкой и выносили.

ПРИСКОРБНЫЙ СЛУЧАЙ.

Какъ хотите, товарищи, а Николаю Ивановичу я очень сочувствую.

Пострадалъ этотъ милый человѣкъ на всѣ шесть гривенъ и ничего такого особенно выдающагося за эти деньги не видѣлъ.

Только что характеръ у него оказался мягкій и уступчивый. Другой бы на его мѣстѣ все кино, можетъ, разбросалъ и публику изъ залы выкурилъ. Потому шесть гривенъ ежедневно на полу не валяются. Понимать надо.

А въ субботу голубчикъ нашъ, Николай Ивановичъ, немножко, конечно, выпилъ. Послѣ получки.

А былъ этотъ человѣкъ въ высшей степени сознательный. Другой бы выпившій человѣкъ началъ бузить и разстраиваться, а Николай Ивановичъ чинно и благородно прошелся по проспекту. Спѣлъ что-то тамъ такое. Вдругъ глядитъ — передъ нимъ кино.

«Дай, думаетъ, все равно — зайду въ кино. Человѣкъ, думаетъ, я культурный, полуинтеллигентный, чего мнѣ зря по панелямъ въ пьяномъ видѣ трепаться и прохожихъ задѣвать? Дай, думаетъ, я ленту въ пьяномъ видѣ посмотрю. Никогда ничего подобнаго не видѣлъ».

Купилъ онъ за свои пречистыя билетъ. И сѣлъ въ переднемъ ряду.

Сѣлъ въ переднемъ ряду и чинно-благородно смотритъ.

Только, можетъ, посмотрѣлъ онъ одну надпись, вдругъ въ Ригу поѣхалъ.

Потому очень тепло въ залѣ, публика дышитъ и темнота на психику благопріятно дѣйствуетъ.

Поѣхалъ въ Ригу нашъ Николай Ивановичъ, все чинно-благородно — никого не трогаетъ, экранъ руками не хва-

таетъ, лампочекъ не выкручиваетъ, а сидитъ себѣ и тихонько въ Ригу ѣдетъ.

Вдругъ стала трезвая публика выражать недовольство по поводу, значитъ, Риги.

— Могли бы, — говорятъ, — товарищъ, для этой цѣли въ фойе пройтись, только, говорятъ, смотрящихъ драму отвлекаете на другія идеи.

Николай Ивановичъ — человѣкъ культурный, сознательный — не сталъ, конечно, зря спорить и горячиться. А всталъ себѣ и пошелъ тихонько.

«Чего, думаетъ, съ трезвыми связываться? Отъ нихъ скандалу не оберешься».

Пошелъ онъ къ выходу. Обращается въ кассу.

— Только-что, — говоритъ, — дамочка, купленъ у васъ билетъ, прошу вернуть назадъ деньги. Потому какъ не могу картину глядѣть — меня въ темнотѣ развозитъ.

Кассирша говоритъ:

— Деньги мы назадъ выдать не можемъ, ежели васъ развозитъ — идите тихонько спать.

Поднялся тутъ шумъ и перебранка. Другой бы на мѣстѣ Николая Ивановича за волосья бы выволокъ кассиршу изъ кассы и вернулъ бы свои пречистыя. А Николай Ивановичъ, человѣкъ тихій и культурный, только, можетъ, разъ и пихнулъ кассиршу.

— Ты, — говоритъ, — пойми, зараза, не смотрѣлъ я еще твою ленту. Отдай, говоритъ, мои пречистыя.

И все такъ чинно-благородно, безъ скандалу, — проситъ вообще вернуть свои же деньги.

Тутъ завѣдующій прибѣгаетъ.

— Мы, — говоритъ, — деньги назадъ не вертаемъ — разъ, говоритъ, взято, будьте любезны досмотрѣть ленту.

Другой бы на мѣстѣ Николай Ивановича плюнулъ бы въ зава и пошелъ бы досматривать за свои пречистыя. А Николай Ивановичу очень грустно стало насчетъ денегъ, началъ онъ горячо объясняться и обратно въ Ригу поѣхалъ.

Тутъ, конечно, схватили Николая Ивановича, какъ собаку, поволокли въ милицію. До утра продержали. А утромъ взяли съ него трешку штрафу и выпустили.

Очень мнѣ теперь жалко Николая Ивановича. Такой, знаете, прискорбный случай: человѣкъ, можно сказать, и ленты не глядѣлъ, только что за билетъ подержался — и, пожалуйста, гоните за это мелкое удовольствіе три шесть гривенъ. И за что, спрашивается, три шесть гривенъ?

КИНО-ДРАМА.

Театръ я не хаю. Но кино все-таки лучше. Оно выгоднѣй театра. Раздѣваться, напримѣръ, не надо — гривенники отъ этого все время экономишь. Бриться опять же не обязательно — въ потемкахъ личности не видать.

Въ кино только въ самую залу входить худо. Трудновато входить. Свободно могутъ затискать до смерти.

А такъ все остальное очень благородно. Легко смотрится.

Въ именины моей супруги поперли мы съ ней кинодраму глядѣть.

Купили билеты. Начали ждать.

А народу многонько скопившись. И всѣ у дверей мнутся.

Вдругъ открывается дверь и барышня говоритъ: «Валяйте».

Въ первую минуту началась небольшая давка. Потому каждому охота поинтереснѣй мѣсто занять.

Ринулся народъ къ дверямъ. А въ дверяхъ образовавшись пробка.

Заднiе поднажимаютъ, а переднiе никуда не могутъ.

А меня вдругъ стиснуло, какъ севрюгу, и понесло вправо.

««Батюшки, думаю, дверь бы не расшибить».

— Граждане, — кричу, — легче за ради Бога. Двери, говорю, человѣкомъ расколоть можно.

А тутъ такая струя образовавшись — прутъ безъ удержу.

А сзади еще военный на меня некультурно нажимаетъ. Прямо, сукинъ сынъ, сверлитъ въ спину.

Я этого чорта военнаго ногой лягаю.

— Оставьте, — говорю, — гражданинъ, свои арапскія штучки.

Вдругъ меня чуть приподняло и объ дверь мордой.

«Такъ, думаю, двери ужъ начали публикой крошить».

Хотѣлъ я отъ этихъ дверей отойти. Началъ башкой дорогу пробивать. Не пущаютъ. А тутъ, вижу, штанами за дверную ручку зацѣпился. Карманомъ.

— Граждане, — кричу, — да полегче же, караулъ! Человѣка за ручку зацѣпило.

Мнѣ кричатъ:

— Отцѣпляйтесь, товарищъ! Задніе тоже хочутъ.

А какъ отцѣплять, ежели волокетъ безъ удержу и вообще рукой не двинуть.

— Да стойте же, — кричу, — черти! Погодите штаны сымать-то. Дозвольте же прежде человѣку съ ручки сняться. Начисто матеріалъ рвется.

Развѣ слушаютъ? Прутъ...

— Барышня, — говорю, — отвернитесь хоть вы-то за ради Бога. Совершенно то-есть изъ штановъ вынимаютъ противъ воли.

А барышня сама стоитъ посинѣвши и хрипитъ уже. И вообще смотрѣть не интересуется.

Вдругъ, спасибо, опять легче понесло.

«Либо съ ручки, думаю, снялся, либо изъ штановъ вынули».

А тутъ сразу пошире проходъ обнаружился.

Вздохнулъ я свободнѣе. Оглядѣлся. Штаны, гляжу, тутъ. А одна штанина ручкой на двѣ половинки разодрана и при ходьбѣ полощется парусомъ.

«Вонъ, думаю, какъ зрителей раздѣваютъ».

Пошелъ въ такомъ видѣ супругу искать. Гляжу, забили ее въ самый то-есть оркестръ. Сидитъ тамъ и выходить пугается.

Тутъ, спасибо, свѣтъ погасили. Начали ленту пущать.

А какая это была лента — прямо затрудняюсь сказать. Я все время штаны зашпиливалъ.

Одна, булавка, спасибо, у супруги моей нашлась.

Да еще какая-то добродушная дама четыре булавки со своего бѣлья сняла. Еще веревочку я на полу нашелъ. Полсеанса искалъ.

Подвязалъ, подшпилилъ, а тутъ, спасибо, и драма кончилась. Пошли домой.

ТЕЛЕФОНЪ

Я, граждане, надо сказать, недавно телефонъ себѣ поставилъ. Потому по нынѣшнимъ торопливымъ временамъ безъ телефона, какъ безъ рукъ.

Мало-ли — поговорить по телефону или, напримѣръ, позвонить куда-нибудь.

Оно, конечно, звонить некуда — это дѣйствительно вѣрно. Но, съ другой стороны, разсуждая матеріально. сейчасъ не 19 годъ. Это понимать надо.

Это въ 19 году не то что безъ телефона обходились — не жравши сидѣли и то ничего.

А скажемъ теперь — за пять цѣлковыхъ аппараты тебѣ вѣшаютъ. Господи Твоя воля!

Хочешь — говори по немъ, не хочешь — какъ хочешь. Никто на тебя не въ обидѣ. Только плати денежки.

Оно, конечно, сосѣди съ непривычки обижались.

— Можетъ, — говорятъ, — оно и ночью звонить будетъ, такъ ужъ это вы — ахъ оставьте.

Но только оно не то что ночью, а и днемъ, знаете, не звонитъ. Оно, конечно, всѣмъ окружающимъ я далъ номера съ просьбой позвонить. Но, между прочимъ, всѣ оказались безпартійные товарищи и къ телефону мало прикасаются.

Однако, все-таки за аппаратъ денежки не дарма плочены. Пришлось таки недавно позвонить по очень важному и слишкомъ серьезному дѣлу.

Воскресенье было.

И сижу я, знаете, у стѣны. Смотрю, какъ это оно оригинально виситъ. Вдругъ какъ оно зазвонитъ. То не звонило, не звонило, а тутъ какъ прорветъ. Я, дѣйствительно, даже испугался.

«Господи, думаю, звону-то сколько за тѣ же деньги»!

Снимаю осторожно трубку за свои любезныя.

— Алло, — говорю, — откуда это мнѣ звонятъ?

— Это, — говорятъ, — звонятъ вамъ по телефону.

— А что, — говорю, — такое стряслось и кто, извиняюсь, будетъ у аппарата?

— Это, — отвѣчаютъ, — у аппарата будетъ одно знакомое вамъ лицо. Приходите, — говорятъ, — по срочному дѣлу въ пивную на уголъ Посадской.

«Видали, думаю, какія удобства! А не будь аппарата — что бы это лицо дѣлало? Пришлось бы этому лицу на трамваѣ трястись».

— Аллю, — говорю, — а что это за такое лицо и какое дѣло?

Однако, въ аппаратѣ молчатъ и на это не отвѣчаютъ.

«Въ пивной, думаю, конечно, выяснится».

Поскорѣе сію минуту одѣваюсь. Бѣгу внизъ.

Прибѣгаю въ пивную.

Народу, даромъ что днемъ, много. И все незнакомые.

— Граждане, — говорю, — кто меня сейчасъ звонилъ и по какому, будьте любезны, дѣлу?

Однако, посѣтители молчатъ и не отвѣчаютъ.

«Ахъ, какая, думаю, досада. То звонили, звонили, а то нѣтъ никого.

Сажусь къ столику. Прошу подать пару.

«Посижу, думаю, можетъ и придетъ кто-нибудь. Странныя, думаю, какія шутки».

Выпиваю пару, закусываю и иду домой.

Иду домой.

А дома то-есть полный кавардакъ. Обокраденъ. Нѣту синяго костюма и двухъ простынь.

Подхожу къ аппарату. Звоню срочно.

— Алло, — говорю, — барышня, дайте въ ударномъ порядкѣ уголовный розыскъ. Обокраденъ, говорю, въ чистую.

Барышня говоритъ:

— Будьте любезны — занято.

Звоню попозже. Барышня говоритъ:

— Кнопка не работаетъ, будьте любезны.

Одѣваюсь. Бѣгу, конечно, внизъ. И на трамваѣ въ уголовный розыскъ.

Подаю заявленіе.

Тамъ говорятъ:

— Разслѣдуемъ.

Я говорю:

— Разслѣдуйте и позвоните.

Они говорятъ:

— Намъ, говорятъ, звонить какъ разъ некогда. Мы, говорятъ, и безъ звонковъ разслѣдуемъ, уважаемый товарищъ.

Чѣмъ все это кончится — не знаю. Больше никто мнѣ не звонилъ. А аппаратъ виситъ.

РЕЖИМЪ ЭКОНОМІИ.

Какъ въ другихъ городахъ проходитъ режимъ экономіи, я, товарищи, не знаю.

А вотъ въ городѣ Борисовѣ этотъ режимъ очень выгодно обернулся.

За одну короткую зиму въ одномъ только нашемъ учрежденіи семь саженъ еловыхъ дровъ съэкономлено. Худо ли!

Десять лѣтъ такой экономіи — это десять кубовъ всетаки. А за сто лѣтъ очень свободно три барки съэкономить можно. Черезъ тысячу лѣтъ вообще дровами торговать можно будетъ.

И объ чемъ только народъ раньше думалъ? Отчего такой выгодный режимъ раньше въ обиходъ не вводилъ? Вотъ обидно-то!

А начался у насъ этотъ самый режимъ еще съ осени.

Завѣдующій у насъ — свой парень. Про все съ нами совѣтуется и говоритъ, какъ съ родными. Папироски даже, сукинъ сынъ, стрѣляетъ.

Такъ приходитъ какъ-то этотъ завѣдующій и объявляетъ:

— Ну, вотъ, ребятишки, началось... Подтянитесь. Экономьте что-нибудь тамъ такое...

А какъ и чего экономить — неизвѣстно. Стали мы разговаривать, чего экономить. Бухгалтеру, что ли, чорту сѣдому, не заплатить, или еще какъ.

Завѣдующій говоритъ:

— Бухгалтеру, ребятишки, не заплатишь, такъ онъ, чертъ сѣдой, живо въ охрану смотается. Этого нельзя будетъ. Надо еще чего-нибудь придумать.

Тутъ, спасибо, наша уборщица Нюша женскій вопросъ на разсмотрѣніе вноситъ.

— Разъ, — говоритъ, — такое международное положеніе и вообще труба, то, говоритъ, можно, для примѣру, уборную не отапливать. Чего тамъ зря полѣнья перегонять? Не въ гостиной.

— Вѣрно, — говоримъ, — нехай уборная въ холодѣ постоитъ. Саженъ семь съэкономимъ, можетъ быть. А что прохладно будетъ, такъ это отнюдь не худо. По морозцу-то публика задерживаться не будетъ. Отъ этого даже производительность можетъ актуально повыситься.

Такъ и сдѣлали. Бросили топить — стали экономію подсчитывать.

Дѣйствительно, семь саженъ съэкономили. Стали восьмую экономить, да тутъ весна ударила.

Вотъ обидно-то!

«Если бъ, думаемъ, не чортова весна, еще бы полкуба съэкономили».

Подкузьмила, однимъ словомъ, насъ весна. Ну, да и семь саженъ, спасибо, на полу не валяются.

А что труба тамъ какая-то отъ морозу оказалась лопнувши, такъ эта труба, выяснилось, еще при царскомъ режимѣ была поставлена. Такія трубы вообще съ корнемъ выдергивать надо.

Да оно до осени очень свободно безъ трубы обойдемся. А осенью какую-нибудь дешевенькую поставимъ. Не въ гостиной!

КУЗНИЦА ЗДОРОВЬЯ.

Крымъ, это — форменная жемчужина. Оттуда народъ пріѣзжаетъ — только диву даешься. То-есть поѣдетъ туда какой-нибудь дряхлый интеллигентишка, а назадъ пріѣзжаетъ — и не узнать его. Карточку раздуло. И вообще масса бодрости, міросозерцанія.

Однимъ словомъ, Крымъ, это — опредѣленно кузница здоровья.

Съ нашего двора поѣхалъ въ Крымъ такой товарищъ, Серега Пестриковъ.

Личность эта была форменно расхлябанная. Которые знали Серегу раньше, всѣ подтвердятъ. То-есть никакого въ немъ не было горѣнія и міросозерцанія.

Другіе граждане съ дому все-таки по праздникамъ веселятся. Въ горѣлки играютъ, пьютъ, въ козла дуются. Вообще живутъ отъ полнаго сердца. Потому — здоровые, черти.

А этотъ мракобѣсъ съ работы, напримѣръ, вернется, ляжетъ брюхомъ на свой подоконникъ и въ книгу уткнется. Погулять даже не пойдетъ. Скелетъ у него, видите ли, ходить не можетъ, растрясся за день.

И ужъ, конечно, не пьетъ, не куритъ, женскимъ персоналомъ не интересуется. Однимъ словомъ, лежитъ на своемъ окнѣ и догниваетъ.

Вотъ какой это былъ нездоровый человѣкъ!

Родственники видятъ — неладно съ парнемъ. Стали насчетъ Крыма хлопотать. А то самъ не можетъ. Схлопотали.

Поломался, поломался парень, но поѣхалъ.

Полтора мѣсяца его тамъ держали. Купали и въ ногу какую-то дрянь вспрыскивали.

Наконецъ, вернулся. Пріѣхалъ. Это ахнуть можно отъ удивленія. Морда, конечно, черная. Лопнуть хочетъ. Глаза горятъ. И вся меланхолія пропала.

Раньше, бывало, этотъ человѣкъ мухи не тронетъ. А тутъ не успѣлъ пріѣхать, въ первый день дворнику Федору морду набилъ. Зачѣмъ за сараемъ не доглядѣлъ — дрова раскрали.

Управдома тоже хотѣлъ за какую-то тамъ мелочь застрѣлить изъ нагана. Жильцовъ всѣхъ раскидалъ, которые заступались.

Ну, видимъ — не узнать парня. Совершенно поправился. Починили человѣка. Отремонтировали капитально. Пить даже началъ отъ полноты здоровья. Дѣвицу ни одну мимо себя не пропускалъ. Скандаловъ сколько съ нимъ было — не сосчитать.

Крымъ, это — форменная жемчужина, какъ человѣка обновляетъ!

Одно худо — хотятъ Серегу Пестрикова со службы снять. Потому прогуливать началъ.

Великая вещь это здоровье!

ГИПНОЗЪ

Могу, товарищи, съ гордостью сказать: за всю свою жизнь ни одного врача не убилъ. Не ударилъ даже.

Съ однимъ врачомъ, дѣйствительно, пришлось сцѣпиться, но, кромѣ словесной дискуссіи съ помахиваніемъ предметами, ничего у насъ такого сверхъестественнаго не было. Пальцемъ его, чорта лысаго, не тронулъ, хотя, говоря по правдѣ, и сильно чесались руки. Только сознательность удержала, а то бы, ей-Богу, отвозилъ.

Эта полная сознателность и его медицинскую супругу тоже не допустила тронуть.

А она меня, ребятишки, очень неаккуратно выпирала изъ прихожей. И орала еще, зараза, что я ее въ бокъ тиснулъ. А такую бабу, ребятишки, въ бокъ не тиснешь, такъ она верхомъ на тебя сядетъ и до угла поѣдетъ.

А пришелъ я, товарищи, до этого медика по неотложному дѣлу. На гипнозъ — внушеніе. Попросилъ его внушить, чтобъ я курить бросилъ. А то такая на меня сильная страсть нашла: курю каждую минуту и все мнѣ мало. И денегъ лишній переводъ, и языкъ пухнетъ.

И пошелъ я по совѣту до этого медика и ему объясняю. Онъ говоритъ:

— Это, говоритъ, можно въ два счета.

Посадилъ онъ меня въ кресло, велѣлъ изъ кармана махру вынуть и сталъ передъ мордой руками трясти и пришептывать что-то.

И вдругъ, дѣйствительно, слабость на меня напала. Закрылъ я глаза и ни о чемъ не думаю. Только думаю — не позабыть бы мнѣ, думаю, махру на столѣ.

А въ это время докторъ говоритъ:

— Готово. Внушилъ вамъ, что надо. Сеансъ леченія конченъ.

— Вотъ, — говорю, — спасибо-то!

Вынулъ я деньги, заплатилъ ему и пошелъ назадъ.

На лѣстницѣ вдругъ безпокойство на меня напало.

«Батюшки, думаю, да сколько жъ я этому чорту, дай Богъ память, заплатилъ?»

И помню — лежали у меня въ расчетной книжкѣ рупь-цѣлковый, трешка и пятерка.

Развернулъ книжку — рупь-цѣлковый и трешка тутъ, а пятерки какъ не бывало.

«Батюшки-свѣты, думаю, по ошибкѣ самую крупную купюру въ руку сунулъ, чтобъ ему раньше времени сдохнуть!»

Дошелъ до дому и чуть не плачу — до того мнѣ пятерки жалко.

Дома супруга мнѣ говоритъ:

— Что, говоритъ, новый курсъ леченія захотѣлъ? Вотъ, говоритъ, и расплачивайся. Внушилъ, говоритъ тебѣ чортовъ медикъ замѣсто рубля пятерку ему дать, а ты и радъ стараться. Лучше бы, говоритъ, курилъ ты, чортъ плѣшивый, чѣмъ пятерками въ докторей швыряться.

Тутъ и меня, дѣйствительно, осѣнило.

«А вѣдь вѣрно, думаю, внушилъ. Ахъ ты, думаю, паразитъ, какія идеи внушаетъ!»

Сразу одѣлся, покуда не остылъ, и къ нему.

— Трогать, — говорю, — я васъ не буду. Мнѣ сознательность не допущаетъ врачей трогать, но говорю, это не тактично внушать такія идеи.

А онъ вродѣ какъ испугался и подаетъ назадъ деньги.

Я говорю:

— Теперь, говорю, подаешь, а раньше объ чемъ думалъ? Тоже, говорю, практика!

Въ эту минуту на мои вопросы медицинская супруга является. Тутъ мы съ ней и схлеснулись. А медика я

пальцемъ даже не тронулъ. Мнѣ сознательность не допущаетъ ихъ трогать. Ихъ тронешь, а послѣ по судамъ затаскаютъ.

А курить я, дѣйствительно, бросилъ. Внушилъ-таки, чортъ лысый!

ТЕАТРАЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМЪ.

Я, братцы мои, зря спорить не буду, кто важнѣй въ театрѣ — актеръ, режиссеръ или, можетъ быть, театральный плотникъ. Факты покажутъ. Факты всегда сами за себя говорятъ.

Дѣло это произошло въ Саратовѣ или въ Симбирскѣ, однимъ словомъ, гдѣ-то недалеко отъ Туркестана. Въ городскомъ театрѣ.

Играли въ этомъ городскомъ театрѣ оперу. Кромѣ выдающейся игры артистовъ, былъ въ этомъ театрѣ, между прочимъ, монтеръ — Иванъ Кузьмичъ Мякишевъ.

На общей группѣ, когда весь театръ въ 23 году снимали на карточку, монтера этого пихнули куда-то сбоку — молъ, техническій персоналъ. А въ центръ, на стулъ со спинкой, посадили тенора.

Монтеръ Иванъ Кузьмичъ Мякишевъ ничего на это хамство не сказалъ, но затаилъ въ душѣ нѣкоторую грубость.

А тутъ такое подошло. Сегодня, для примѣру, играютъ «Русланъ и Людмила». Музыка Глинки. Дирижеръ маэстро Кацманъ. А безъ четверти минутъ восемь являются до этого монтера двѣ знакомыя ему барышни. Или онъ ихъ раньше пригласилъ, или они сами приперлись — неизвѣстно. Такъ являются эти двѣ знакомыя барышни, отчаянно флиртуютъ и вообще просятъ ихъ посадить въ общую залу — посмотрѣть на спектакль.

Монтеръ говоритъ:

— Да ради Бога, медамъ. Сейчасъ я вамъ пару билетовъ сварганю. Посидите тутъ, у будки.

И самъ, конечно, къ управляющему.

Управляющій говоритъ:

— Сегодня вродѣ какъ суббота. Народу пропасть. Каждый стулъ на учетѣ. Не могу.

Монтеръ говоритъ:

— Ахъ, такъ, говоритъ. Ну такъ я играть отказываюсь. Отказываюсь, однимъ словомъ, освѣщать ваше производство. Играйте безъ меня. Посмотримъ тогда, кто изъ насъ важнѣй и кого сбоку сымать, а кого въ центръ сажать.

И самъ обратно въ будку. Выключилъ по всему театру свѣтъ къ чортовой бабушкѣ, замкнулъ на всѣ ключи будку и сидитъ — отчаянно флиртуетъ.

Тутъ произошла, конечно, форменная абструкція. Управляющій бѣгаетъ. Публика оретъ. Кассиръ визжитъ, пугается, какъ бы у него деньги въ потемкахъ не уперли. А бродяга, главный оперный теноръ, привыкшій завсегда сыматься въ центрѣ, заявляется до дирекціи и говоритъ своимъ теноромъ:

— Я въ темнотѣ пѣть теноромъ отказываюсь. Разъ, говоритъ, темно — я ухожу. Мнѣ, говоритъ, голосъ себѣ дороже. Пущай сукинъ сынъ монтеръ поетъ.

Монтеръ говоритъ:

— Пущай не поетъ. Напдевать ему въ морду. Разъ онъ, сволочь такая, въ центрѣ сымается, то и пущай одной рукой поетъ, другой свѣтъ зажигаетъ. Дерьмо какое нашлось! Думаетъ — теноръ, такъ ему и свѣти все время. Господъ нынче нѣту!

Тутъ, конечно, монтеръ схлестнулся съ теноромъ.

Вдругъ управляющій является, говоритъ:

— Гдѣ эти чортовы двѣ дѣвицы? Черезъ нихъ наблюдается полная гибель. Сейчасъ я ихъ куда-нибудь посажу, корова ихъ забодай!

Монтеръ говоритъ:

— Вотъ они, чортовы дѣвицы! Только не черезъ ихъ гибель, а гибель черезъ меня. Сейчасъ, говоритъ, я свѣтъ дамъ. Мнѣ энергіи принципіально не жалко.

Далъ онъ сію минуту свѣтъ.

— Начинайте, — говоритъ.

Сажаютъ тогда его дѣвицъ на выдающіяся мѣста и начинаютъ спектакль.

Теперь и разбирайтесь сами, кто важнѣе въ этомъ сложномъ театральномъ механизмѣ.

ОШИБОЧКА.

Сегодня день-то у насъ какой? Среда, кажись. Ну да, среда. А это въ понедѣльникъ было. Въ понедѣльникъ народъ у насъ чуть со смѣху не подохъ. Потому смѣшно ужъ очень. Ошибка вышла.

Главное, что народъ-то у насъ на фабрикѣ весь грамотный. Любого человѣка разбуди, скажемъ, ночью и заставь его фамилію свою написать — напишетъ.

Потому тройка у насъ была выдѣлена очень отчаянная. Въ три мѣсяца ликвидировала всю неграмотность. Конечно, остались нѣкоторые не очень способные. Путали свои фамиліи. Гусевъ, напримѣръ, путалъ. То «сы» не тамъ выпишетъ, то росчеркъ не въ томъ мѣстѣ пуститъ, то букву «гы» позабудетъ. Ну, а остальные справлялись.

И вотъ при такомъ-то общемъ уровнѣ такой, представьте, ничтожный случай.

Главное, кассиръ Еремѣй Мироновичъ случайно замѣтилъ. Въ субботу, скажемъ, получка, а въ понедѣльникъ кассиръ вѣдомость провѣряетъ — просчета нѣтъ ли. И чикаетъ онъ на счетахъ и вдругъ видитъ въ вѣдомости крестикъ. Кругомъ подписи, а тутъ въ графѣ — крестикъ.

«Какъ крестикъ? думаетъ кассиръ. Почему крестикъ?»

Отчего это крестикъ, разъ грамотность подъ чистую ликвидирована и всѣ подписывать могутъ?

Поглядѣлъ кассиръ, видитъ — супротивъ фамиліи «Хлѣбниковъ» этотъ крестикъ.

Кассиръ бухгалтеру — крестикъ, дескать. Бухгалтеръ секретарю. Секретарь дальше.

Разговоры пошли по мастерскимъ: вотъ такъ тройка! За такое, дескать, время грамотность не могли ликвидировать.

Предзавкомъ бѣжитъ въ кассу. Вѣдомость велитъ подать. Тройка тутъ же, вокругъ кассы, колбасится. Глядятъ. Да, видятъ — крестикъ супротивъ Хлѣбникова.

— Какой это Хлѣбниковъ? — спрашиваютъ. — Отчего это Хлѣбниковъ не ликвидированъ? Отчего это всѣ грамотные и просвѣщенные, а одинъ Хлѣбниковъ пропадаетъ въ темнотѣ и въ пропасти? И какъ это можно? И чего тройка глядѣла и какимъ мѣстомъ думала?

А тройка стоитъ тутъ же и плечами жметъ.

Вызвали Хлѣбникова. А онъ квалифицированный токарь. Идетъ неохотно.

Спрашиваютъ его:

— Грамотный?

— Грамотный, — говоритъ.

— Можешь, — спрашиваютъ, — фамилію подписывать?

— Могу, — говоритъ. — Три, говоритъ, мѣсяца ликвидировали.

Предзавкомъ руками разводитъ. Тройка плечами жметъ. А кассиръ вѣдомость подаетъ.

Дали вѣдомость Хлѣбникову. Спрашиваютъ:

— Кто подписывалъ крестикъ?

Глядѣлъ, глядѣлъ Хлѣбниковъ.

— Да, — говоритъ, — почеркъ мой. Я писалъ крестикъ. Пьяный былъ дюже. Не могъ фамилію вывести.

Тутъ смѣхъ вокругъ поднялся.

Тройку всѣ поздравляютъ — не подкачали, дескать. Хлѣбникову руку жмутъ.

— Ну, — говорятъ, — какъ гора съ плечъ. А мы-то думали, что ты, Хлѣбниковъ, по сіе время, какъ слѣпой, бродишь въ темнотѣ и въ пропасти...

А за вторую половину мѣсяца, при всей своей грамотности, Хлѣбниковъ снова спьяна вывелъ крестикъ. Но этому никто ужъ не удивлялся. Потому — привыкли. И знали, что человѣкъ грамотный.

СЛУЧАЙ ВЪ БОЛЬНИЦѢ.

Въ февралѣ я, братцы мои, заболѣлъ.

Легъ въ городскую больницу. И вотъ лежу, знаете ли, въ городской больницѣ, лечусь и душой отдыхаю. А кругомъ тишь да гладь и Божья благодать. Кругомъ чистота и порядокъ, даже лежать неловко. А захочешь плюнуть — плевательница. Сѣсть захочешь — стулъ имѣется, захочешь сморкнуться — сморкайся на здоровье въ руку, а чтобъ въ простыню — ни Боже мой, въ простыню нипочемъ не позволяютъ. Порядка, говорятъ, такого нѣтъ.

Ну и смиряешься.

И нельзя не смириться. Такая вокругъ забота, такая ласка, что лучше и не придумать.

Лежитъ, представьте себѣ, какой-нибудь паршивенькій человѣкъ, а ему и обѣдъ волокутъ, и кровать убираютъ, и градусники подъ мышку ставятъ, и клистиры собственноручно пихаютъ и даже интересуются здоровьемъ.

И кто интересуется? Важные, передовые люди — врачи, доктора, сестрички милосердія и опять же фельдшеръ, Иванъ Ивановичъ.

И такую я благодарность почувствовалъ ко всему этому персоналу, что рѣшилъ принести матеріальную благодарность.

«Всѣмъ, думаю, не дашь — потроховъ не хватитъ. Дамъ, думаю, одному. А кому — сталъ присматриваться».

И вижу: некому больше дать, иначе какъ фельдшеру Иванъ Ивановичу. Мужчина, вижу, крупный и представительный и больше всѣхъ старается и даже изъ кожи вонъ лѣзетъ.

«Ладно, думаю, дамъ ему. И сталъ обдумывать, какъ ему всунуть, чтобъ и достоинство его не оскорбить и чтобъ не получить за это въ рожу».

Случай скоро представился.

Подходитъ фельдшеръ къ моей кровати. Здоровается.

— Здравствуйте, — говоритъ, — какъ здоровье? Былъ ли стулъ?

«Эге, думаю, клюнуло».

— Какъ же, — говорю, — былъ стулъ, да кто-то изъ больныхъ унесъ. А ежели вамъ присѣсть охота — присаживайтесь въ ноги на кровать. Потолкуемъ.

Присѣлъ фельдшеръ на кровать и сидитъ.

— Ну, — говорю ему, — какъ вообще, что пишутъ, велики ли заработки?

— Заработки, — говоритъ, — не велики, но которые интеллигентные больные, и хотя бы при смерти, норовятъ непремѣнно въ руку сунуть.

— Извольте, — говорю. — Хоть и не при смерти, но дать не отказываюсь. И даже давно про это мечтаю.

Вынимаю деньги и даю. А онъ этакъ любезно принялъ и сдѣлалъ реверансъ ручкой.

А на другой день все и началось.

Лежалъ я очень даже спокойно и хорошо, и никто меня не тревожилъ до этихъ поръ, а теперь фельдшеръ Иванъ Ивановичъ словно ошалѣлъ отъ моей матеріальной благодарности. За день разъ десять или пятнадцать припрется онъ къ моей кровати. То, знаете ли, подушечки поправитъ, то въ ванну поволокетъ, то клизму предложитъ поставить. Одними градусниками замучилъ онъ меня, сукинъ котъ! Раньше за сутки градусникъ или два поставитъ — только и всего. А теперь разъ пятнадцать. Раньше ванна была прохладная и мнѣ нравилась, а теперь набуровитъ горячеи воды — хоть карауль кричи.

Я ужъ и этакъ и такъ — никакъ. Я ему, подлецу, деньги еще сую — отстань только, сдѣлай милость, а онъ еще пуще въ ражъ входитъ и старается.

Недѣля прошла, вижу — не могу больше.

Заправился я, фунтовъ пятнадцать потерялъ, похудѣлъ и аппетита лишился. А фельдшеръ все старается.

А разъ онъ, бродяга, чуть даже меня въ кипяткѣ не сварилъ. Ей-Богу. Такую ванну, подлецъ, сдѣлалъ — у меня ажъ мозоль на ногѣ лопнула и кожа сошла.

Я ему говорю:

— Ты что же, говорю, мерзавецъ, людей въ кипяткѣ варишь? Не будетъ тебѣ больше матеріальной благодарности.

А онъ говоритъ:

— Не будетъ — не надо. Подыхайте, говоритъ, безъ помощи научныхъ сотрудниковъ.

И вышелъ.

А теперича все идетъ по прежнему.

Градусники ставятъ одинъ разъ, клизму по мѣрѣ надобности. И ванна снова прохладная, и никто меня больше не тревожитъ.

Не зря борьба съ чаевыми происходитъ. Охъ, братцы, не зря!

ПАУТИНА.

Вотъ говорятъ, что деньги сильнѣй всего на свѣтѣ. Вздоръ. Ерунда.

Капиталисты для самообольщенія все это выдумали.

Есть на свѣтѣ кое-что покрѣпче денегъ.

Двумя словами объ этомъ не разсказать. Тутъ цѣлый разсказъ требуется.

Извольте разсказъ.

Высокой квалификаціи токарь по металлу, Иванъ Борисовичъ Левонидовъ, разсказалъ мнѣ его.

— Да, дорогой товарищъ, — сказалъ Левонидовъ, — такія дѣла на свѣтѣ дѣлаются, что только въ книгу записывай.

Появился у насъ, на заводѣ, любимчикъ — Егорка Драповъ.

Человѣкъ онъ арапистый. Усишки бѣлокурыя. Взглядъ этакій вредный. И носъ вродѣ перламутровой пуговицы.

А карьеру, между тѣмъ, дѣлаетъ. По службѣ повышается, на легкую работу назначается и жалованье получаетъ по высшему разряду.

Мастеръ съ нимъ за ручку. А разъ даже, проходя мимо Егорки Драпова, мастеръ пощекоталъ его пальцами и съ уваженіемъ такимъ ему улыбнулся.

Стали рабочіе думать, что и почему. И за какія личныя качества повышается человѣкъ?

Думали, гадали, но не разгадали и пошли къ инженеру Фирсу.

— Вотъ, — говоримъ, — любезный отецъ, просимъ покорнѣйше одернуть зарвавшагося мастера. Пущай не по-

вышаетъ своего любимца, Егорку Драпова. И пальцемъ пущай не щекочетъ, проходя мимо.

Сначала инженеръ испугался — думалъ, что его хотятъ выводить на свѣжую воду, но послѣ обрадовался.

— Будьте, — говоритъ, — товарищи, благонадежны. Зарвавшагося мастера одерну, а Егорку Драпова въ другое отдѣленіе переведу.

Проходитъ, между тѣмъ, мѣсяцъ. Погода стоитъ отличная. Вѣтры дуютъ южные. И наводненія не предвидится. А любимчикъ — Егорка Драповъ — карьеру, между тѣмъ, дѣлаетъ все болѣе заманчивую.

И не только теперь мастеръ, а и самъ любимый спецъ съ нимъ похохатываетъ и ручку ему жметъ.

Ахнули рабочіе. И я ахнулъ.

«Неужели же, думаемъ, правды на землѣ нѣту? Вѣдь за какія же это данныя повышается человѣкъ и пальцами щекотится мастеромъ».

Пошли мы небольшой группой къ красному директору, Ивану Павловичу.

— Вы, — говоримъ, — который этотъ и тому подобное. Да за что же, говоримъ, такая несообразность?

А красный директоръ, нахмурившись, отвѣчаетъ:

— Я, говоритъ, который этотъ и тому подобное. Я, говоритъ, мастера и спеца возьму подъ ноготь, а Егорку Драпова распушу, какъ собачій хвостъ. Идите себѣ, братцы, не понижайте производительности.

И проходитъ мѣсяцъ — Егорка Драповъ цвѣтетъ, какъ маковъ цвѣтъ или, скажемъ, хризантема въ саду. Балуютъ его и милуютъ, и ручку со всѣхъ сторонъ наперерывъ ему жмутъ. И директоръ жметъ, и спецъ жметъ, и самъ мастеръ, проходя мимо, щекочетъ Егорку Драпова.

Взвыли тутъ рабочіе, пошли всей гурьбой къ рабкору Настину. Плачутся:

— Рабкоръ ты нашъ золото, драгоцѣнная головушка. Ругали мы тебя и матюкали и язвой называли: молъ, жалобы зачѣмъ въ газету пишешь. А теперича извините и простите... Выводите Егорку Драпова на свѣжую воду.

— Ладно, — сказалъ Настинъ. — Это мы можемъ, сейчасъ поможемъ. Дайте только маленько сроку, погляжу, что и какъ и почему человѣкъ повышается. Хвость ему накручу — будьте покойны.

И проходитъ мѣсяцъ. Вѣтры дуютъ южные. И наводненія не предвидится. Птички по воздуху порхаютъ и бабочки крутятся.

А Егорка Драповъ цвѣтетъ жасминомъ или даже пестрой астрой распущается.

И даже рабкоръ Настинъ, проходя однажды мимо, пощекоталъ Егорку и дружески такъ ему улыбнулся.

Собрались тутъ рабочіе обсуждать. Говорили, говорили — языки распухли, а къ результату не пришли.

И тутъ я, конечно, встрѣваю въ разговоръ.

— Братцы, — говорю, — я, говорю, первый гадюку открылъ, я ее и закопаю. Дайте срокъ.

И вдругъ на другой день захожу я въ Егоркино отдѣленіе и незамѣтно становлюсь за дверь. И вижу. Мастеръ домой собирается, а Егорка Драповъ крутится передъ нимъ мелкимъ бѣсомъ и вродѣ какъ тужурку подаетъ.

— Не застудитесь, — говоритъ, — Иванъ Саввичъ. Погодка-то, говоритъ, страсть неблагопріятная.

А мастеръ Егорку по плечу стукаетъ и хохочетъ.

— А и любишь, — говоритъ, — ты меня, Егорка, сукинъ сынъ!

А Егорка Драповъ почтительно докладываетъ:

— Вы, говоритъ, мнѣ, Иванъ Саввичъ, вродѣ какъ отецъ родной. И мастеръ, говоритъ, вы отличный. И личностью, говоритъ, очень, говоритъ, вы мнѣ покойную мамашу напоминаете, только что у ей усиковъ не было.

А мастеръ пожалъ Егоркину ручку и пошелъ себѣ.

Только я хотѣлъ изъ-за двери выйти, шагъ шагнулъ— рабкоръ Настинъ прется.

— А, — говоритъ, — Егорушка, другъ ситный! Я, говоритъ, — знаешь ли, такую давеча замѣтку написалъ— ай-лю-ли.

А Егорка Драповъ смѣется.

— Да ужъ, — говоритъ, — ты богато пишешь. Пушкинъ, говоритъ, и Гоголь дерьмо противъ тебя.

— Ну, спасибо, — говоритъ рабкоръ, — вѣкъ тебѣ не забуду. Хочешь тую замѣтку прочту?

— Да чего ее читать, — говоритъ Егорка, — я, говоритъ, и такъ, безъ чтенія, въ восхищеніи.

Пожали они другъ другу ручки и вышли вмѣстѣ. А я слѣдомъ.

А навстрѣчу красный директоръ прется.

— А, — говоритъ, — Егорка Драповъ, наше вамъ... Ну-ка, говоритъ, погляди теперича, какія у меня мускулы.

И директоръ рукавъ свой засучилъ и показываетъ Егоркѣ мускулы.

— Ого, — говоритъ, — прибавилось.

— Ну, спасибо, — говоритъ директоръ, — спасибо тебѣ, Егорка.

Тутъ оба два — директоръ и рабкоръ — попрощались съ Егоркой и разошлись.

Догоняю я Егорку на улицѣ, беру его, подлеца, за руку и отвѣчаю:

— Такъ, говорю, любезный. Вотъ, говорю, какія паутины вы строите.

А Егорка Драповъ беретъ меня подъ руку и хохочетъ.

— Да брось, — говоритъ, — милый... Охота тебѣ... Лучше разскажи, какъ живешь и какъ сынишка процвѣтаетъ?

— Дочка, — говорю, — у меня, Егорка. Не сынъ. Отличная, говорю, дочка. Бѣгаетъ...

— Люблю дочекъ, — говоритъ Егорка. — Завсегда, говоритъ, любуюсь на нихъ и игрушки имъ жертвую...

И проходитъ мѣсяцъ. Вѣтры дуютъ южные. И наводненія не предвидится. А Егорка Драповъ цвѣтетъ, какъ маковъ цвѣтъ или, скажемъ, хризантема въ саду.

А вчера, проходя мимо, пощекоталъ я Егорку Драпова.

«Чортъ съ нимъ! Хоть, думаю, и подлецъ, а пріятный человѣкъ».

Полюбилъ я Егорку Драпова.

ГИБЕЛЬ ЧЕЛОВѢКА.

Кончено. Баста. Никакой жалости къ людямъ не осталось въ моемъ сердцѣ.

Вчера еще, до шести часовъ вечера, сочувствовалъ и уважалъ людей, а нынче не могу, ребятишки. До послѣдней точки докатилась людская неблагодарность.

Вчера, извольте видѣть, за мою жалость къ ближнему человѣку — отчаянно пострадалъ и, можетъ, даже предстану передъ народнымъ судомъ въ ближайшемъ будущемъ.

Баста. Зачерствѣло мое сердце. Пущай ближній больше на меня не разсчитываетъ.

А шелъ я вчера по улицѣ. Иду я вчера по улицѣ и вижу — народъ будто стоитъ скопившись подлѣ воротъ. И кто-то отчаянно охаетъ. И кто-то руками трясетъ и вообще, вижу — происшествіе. Подхожу. Спрашиваю, объ чемъ шумъ.

— Да вотъ, — говорятъ, — тутъ ногу сломалъ одинъ гражданинъ. Итти теперь не можетъ.

— Да ужъ, — говорю, — тутъ не до ходьбы.

Растолкалъ я публику и подхожу я ближе къ мѣсту дѣйствія. И вижу — какой-то человѣчишко дѣйствительно лежитъ на плитуарѣ. Морда у него отчаянно бѣлая и нога въ брюкѣ сломана. И лежитъ онъ, сердечный другъ, упершись въ самую тумбу и бормочетъ:

— Молъ, довольно склизко, граждане, извиняюсь. Шелъ и упалъ, конечно. Нога вещь непрочная.

Сердце у меня горячее, жалости къ людямъ много и вообще не могу видѣть гибель человѣка на улицѣ.

— Братцы, — говорю, — да, можетъ, онъ членъ союза. Надо же предпринять тѣмъ не менѣе.

И самъ, конечно, бросаюсь въ телефонную будку. Вызываю скорую помощь. Говорю: «Нога сломана у человѣка, поторопитесь по адресу».

Пріѣзжаетъ карета. Въ бѣлыхъ балахонахъ сходятъ оттеда четыре врача.

Разгоняютъ публику и укладываютъ пострадавшаго человѣка на носилки.

Между прочимъ, вижу, этотъ человѣкъ совершенно не желаетъ, чтобы его ложили на носилки. Пихаетъ всѣхъ четырехъ врачей остатней здоровой ногой и до себя не допущаетъ.

— Пошли вы, — говоритъ, — всѣ четыре врача тудасюда. Я, говоритъ, можетъ, домой тороплюся.

И самъ чуть, знаете, не плачетъ.

«Что, думаю, за смятеніе ума у человѣка?»

И вдругъ произошло нѣкоторое замѣшательство. И вдругъ слышу — меня кличутъ.

— Это, — говорятъ, — дядя, ты вызывалъ карету скорой помощи?

— Я, — говорю.

— Ну такъ, — говорятъ, — придется тебѣ черезъ это отвѣчать по всей строгости революціонныхъ законовъ. Потому какъ зря карету вызвалъ — у гражданина искусственная нога обломилась.

Записали мою фамилію и отбыли.

И чтобы я послѣ этого факта еще разстраивалъ свое благородное сердце — ни въ жисть. Пущай убиваютъ на моихъ глазахъ человѣка — нипочемъ не повѣрю. Потому — можетъ для кино-съемки его убиваютъ.

И вообще ничему не вѣрю — время такое невѣроятное.

ЧАСЫ.

Главное — Василій Конопатовъ съ барышней ѣхалъ. Поѣхалъ бы онъ одинъ — все обошлось бы мило и неглупо. А тутъ чортъ дернулъ Васю съ барышней на трамваѣ выѣхать.

И, главное, какъ сложилось все дефективно! Напримѣръ, Вася и привычки никогда не имѣлъ по трамваямъ ѣздить. Всегда пехомъ перся. То-есть случая не было. чтобъ парень въ трамвай влѣзъ и семь копѣекъ кондуктору добровольно отдалъ.

А тутъ нате вамъ — манеры показалъ. Молъ, неугодно ли вамъ, дорогая барышня, въ трамваѣ покататься? Къ чему, дескать, туфлями лужи черпать?

Скажи на милость, какія великосвѣтскія манеры!

Такъ вотъ, влѣзъ Вася Конопатовъ въ трамвай и даму за собой вперъ. И мало того, что вперъ, а еще и заплатилъ за нее безъ особаго скандалу.

Ну, заплатилъ — и заплатилъ. Ничего въ этомъ нѣтъ особеннаго. Стой, подлая душа, на мѣстѣ, не задавайся. Такъ нѣтъ, началъ, дьяволъ, для фасона за кожаныя штуки хвататься. За верхніе держатели. Ну и дохватался.

Были у парня небольшіе часы — сперли.

И только сейчасъ тутъ были. А тутъ вдругъ хватился, хотѣлъ передъ дамой пыль пустить — часовъ и нѣту. Заголосилъ, конечно.

— Да что жъ это, — говоритъ. — Разъ въ жизни въ трамвай вопрешься, и то трогаютъ.

Тутъ въ трамваѣ началась, конечно, неразбериха. Остановили вагонъ. Вася, конечно, сразу на даму свою подумалъ, не она ли вообще стилиснула.

Дама — въ слезы.

— Я, — говоритъ, — привычки не имѣю за часы хвататься.

Тутъ публика стала насѣдать.

— Это, — говорятъ, — нахальство на барышню тѣнь наводить.

Барышня отвѣчаетъ сквозь слезы:

— Василій, говоритъ, Митрофанычъ, противъ васъ я ничего не имѣю. Несчастье, говоритъ, каждаго человѣка пригинаетъ. Но, говоритъ, пойдемте, прошу васъ, въ угрозыскъ. Пущай тамъ зафиксируютъ, что часы — пропажа. И, можетъ, они, слава Богу, найдутся.

Василій Митрофанычъ отвѣчаетъ:

— Угрозыскъ тутъ не при чемъ. А что на васъ я подумалъ — будьте любезны, извините. Несчастье, это дѣйствительно, человѣка пригинаетъ.

Тутъ публика стала выражаться. Молъ, какъ это можно? Если часы — пропажа, то обязательно люди въ угрозыскъ ходятъ и заявляютъ.

Василій Митрофанычъ говоритъ:

— Да мнѣ, говоритъ, граждане, прямо неохота въ угрозыскъ итти. Особыхъ дѣловъ, говоритъ, у меня тамъ нѣту. Это, говоритъ, необязательно итти.

Публика говоритъ:

— Обязательно. Какъ это можно, когда часы — пропажа. Идемте, мы свидѣтели.

Василій Митрофановичъ отвѣчаетъ:

— Это насиліе надъ личностью.

Однако, все-таки пойти пришлось.

И что бы вы, милые мои, думали? Зашелъ парень въ угрозыскъ, а оттуда не вышелъ. Такъ-таки вотъ и не вышелъ. Застрялъ тамъ.

Главное — пришелъ парень со свидѣтелями, объясняетъ. Ему говорятъ:

— Ладно, найдемъ. Заполните эту анкету. И объясните, какіе часы.

Сталъ парень объяснять и заполнять и запутался.

Стали его спрашивать, гдѣ онъ въ 19 году былъ. Велѣли показать большой палецъ. Ну, и конченное дѣло. Приказали остаться и не удаляться. А барышню отпустили.

И подумать, граждане, что творится? Человѣкъ и въ угрозыскъ не моги зайти. Заметаютъ.

АМЕРИКАНСКАЯ РЕКЛАМА.

Пошелъ тутъ одинъ рабочій квартирку себѣ подыскать.

Ходилъ, ходилъ, похудѣлъ и посѣдѣлъ, сердечный, но квартирку все-таки нашелъ. По случаю.

Миленькая такая квартирка — кухня и при ней комната. Въ арендованномъ домѣ.

До чего обрадовался рабочій — сказать нельзя.

— Беру, — говоритъ, — гражданинъ-арендатель. Считайте за мной.

Арендатель говоритъ:

— Да, конечное дѣло, берите ладно. Платите мнѣ шестьдесятъ рублей въѣздныхъ и берите, ладно. Такую квартирку за такую цѣну у меня завсегда съ руками и ногами оторвутъ.

Рабочій говоритъ:

— Нѣту у меня, братишка, такихъ бѣшеныхъ денегъ. Нельзя ли, дядя, вообще безъ въѣздныхъ?

Ну, однимъ словомъ, не сошлись въ цѣнѣ.

Очень разстроился отъ этого рабочій.

Идетъ домой въ сильныхъ грустяхъ и думаетъ:

«Прохвачу этого прохвоста въ газетѣ. Мыслимое ли дѣло такія деньги драть!»

И на другой день, дѣйствительно, появилась въ газетѣ за подписью рабкора обличительная замѣтка.

Крѣпко такъ обложили арендателя.

Это, говорятъ, паукъ, а не муха. Шесть червонцевъ драть за такую квартирку — это же прямо скучно. И откуда могутъ быть такія бѣшеныя деньги у рабочаго человѣка?

Словомъ — вотъ какъ обложили арендателя. И адресъ указали. Чтобъ въ случаѣ чего хвостъ могли накрутить ядовитому арендателю.

И, батюшки-свѣты, чего было въ тотъ же день на этой вышеуказанной улицѣ!

Очередь. Огромадная, то есть, очередь образовалась. Давка. Галдежъ

Всѣ граждане стоятъ и въ рукахъ газеты держутъ. И пальцами въ замѣтку тычутъ.

— Да это же — говорятъ, — граждане, квартира! За шестьдесятъ рублей цѣльная квартира. Да мы очень слободно сто дадимъ въ случаѣ ежели чего.

Въ одномъ мѣстѣ у воротъ драка чуть не случилась. Хотѣли ужъ конную милицію требовать. Да въ этотъ моментъ самъ гражданинъ арендатель въ окнѣ показался. И ручкой реверансъ сдѣлалъ.

— Расходись, — кричитъ, — робя! Не стой понапрасну. Сдадена квартиренка.

— За сколько сдадена-то? — спросили въ толпѣ.

— За двѣсти сдадена. Спросъ очень огромадный, нельзя, братцы, меньше.

— За двѣсти! — ахнула толпа. — Да мы тебѣ, дядя, очень слободно триста бы дали. Допусти только.

Арендатель съ сожалѣніемъ развелъ руками и отошелъ отъ окна. Толпа понуро расходилась, помахивая газетами.

ТУМАНЪ.

А вѣдь сейчасъ, граждане, не черта не разберешь — кто грамотный, а кто неграмотный.

Одинъ, напримѣръ, гражданинъ знаетъ свою фамилію съ закорючкой подписывать, а писать вообще не знаетъ. Другой гражданинъ писать знаетъ, а прочесть, чего написалъ, — не можетъ. Да и не только онъ не можетъ, а дайте ученому профессору — и ученый профессоръ ни черта не разберется! Даромъ, что профессоръ. Такое написано — будто кура наслѣдила или дохлая муха нагадила.

Ну, а теперь, дорогіе товарищи, какъ же этихъ гражданъ считать прикажете? Грамотные эти граждане или неграмотные? Одни говорятъ: да, грамотные. Другіе говорятъ: да, нѣтъ! Вотъ тутъ и разбирайся.

Или, напримѣръ, Василій Ивановичъ Головешечкинъ. Да онъ и самъ не знаетъ, грамотный онъ или нѣтъ. Человѣкъ, можно сказать, совсѣмъ сбился въ этомъ туманѣ просвѣщенія.

Предсѣдатель однажды чуть даже не убилъ его за это. Главное, что два дня всего осталось до полной ликвидаціи неграмотности. Скажемъ, къ первому мая велено было въ губерніи начисто ликвидировать неграмотность. А за два дня до этого бѣжитъ Василій Ивановичъ въ сельсовѣтъ и докладываетъ, запыхавшись, дескать — неграмотный онъ.

Предсѣдатель чуть не укокошилъ его на мѣстѣ.

— Да ты, — говоритъ, — что жъ это, сукинъ сынъ? Да какъ же ты ходишь, не ликвидировавшись, разъ два дни осталось?

Василій Ивановичъ разъясняетъ положеніе — дескать, неспособенъ, способностей, дескать, къ наукамъ нѣту.

Предсѣдатель говоритъ:

— Ну, что, говоритъ, я съ тобой, съ чучелой, дѣлать буду? Кругомъ, говоритъ, начисто ликвидировано, а ты одинъ декреты нарушаешь. Бѣги, говоритъ, поскорѣй въ тройку, проси и умоляй. Можетъ, они тебя въ два дни какъ-нибудь обернутъ. Пущай хотя гласныя буквы объяснятъ.

Василій Ивановичъ говоритъ:

— Гласныя, говоритъ, буквы я знаю. Чего ихъ всякій разъ показывать! Голова заболитъ.

Тутъ предсѣдатель обратно чуть не убилъ Василія Ивановича.

— Какъ, — говоритъ, — знаешь? Можетъ, ты и фамилію писать знаешь?

— Да, — говоритъ, — и фамилію.

— Значитъ ты, сукинъ сынъ, грамотный?

— Да выходитъ, что грамотный, — говоритъ Василій Ивановичъ. — Да только какой же я грамотный? Смѣшно.

Предсѣдатель опять чуть не убилъ Василія Ивановича послѣ этихъ словъ.

— Нѣтъ, — говоритъ, — у меня инструкцій разбираться въ вашихъ образованіяхъ, чучело, говоритъ, ты, окаянное! Только, говоритъ, людей пугаешь передъ праздникомъ. А еще грамотный!

И опять чуть не убилъ Василія Ивановича.

А теперь Василій Ивановичъ сильно задается. И говоритъ, что онъ грамотный. И вообще съ высшимъ образованіемъ. Даже можетъ въ вузахъ преподавать, а только неохота ему преподавать — и жена, вообще, не пущаетъ, да и дѣтишки, между прочимъ, плачутъ — пугаются, что папашку въ вузахъ убьютъ.

Такъ и живетъ теперь человѣкъ съ высшимъ образованіемъ. И вѣдь чудно какъ случилось! Еще недѣлю назадъ скулилъ человѣкъ, что неграмотный, а теперь этакое образованіе ему выпало. Какъ говорится — не было гроша, а вдругъ пуговица.

БЫВАЕТЪ.

Ванюшка-то Леденцовъ работу получилъ. Истинная правда.

Въ трестѣ теперь работаетъ.

И кто бы могъ подумать! У человѣка то-есть ни протекціи, ни особыхъ знакомствъ или ячеекъ —ничего такого не было. И вотъ поди жъ ты! Работаетъ.

А говорятъ, что всюду кумовство и протекціи, и чужому человѣчку будто внѣдриться куда-нибудь трудно. Ай врутъ!

У Ванюшки Леденцова во всемъ то-есть трестѣ ни единаго знакомаго человѣчка не было. Не только, скажемъ, какого-нибудь крупнаго отвѣтственнаго знакомаго, а вообще никого не было. Былъ одинъ безпартійный грузчикъ, да и тотъ поденный. А много ли можетъ сдѣлать поденный грузчикъ?

А пришелъ Ванюшка Леденцовъ разъ однажды къ этому грузчику. Поставилъ ему пару пива и говоритъ:

— Вотъ что, другъ! Протекцій у меня, самъ знаешь, нѣту, въ ячейкахъ я не состою — подсоби по возможности.

Грузчикъ говоритъ:

— Наврядъ ли, милый человѣкъ, подсобить смогу. Невозможно вѣдь такъ, тяпъ-ляпъ, безъ протекціи. Самъ понимаешь.

Но такъ складно все случилось. Въ прошломъ годѣ грузчикъ мебель перевозилъ трестовскому бухгалтеру.

— Такъ и такъ, — говоритъ, — уважаемый товарищъ бухгалтеръ. Мебель я вамъ въ свое время перевозилъ. Ничего такого не сломалъ, исключая одной ножки и умывальника. Ткните куда ни на есть Ванюшку Леденцова. Про-

текціи у него, подлеца, нѣту. Ничего такого нѣту. Въ ячейкахъ не состоитъ. Ну, прямо ,парень гибнетъ безъ протекціи.

Бухгалтеръ говоритъ:

— Наврядъ ли, милый человѣкъ, можно безъ протекціи. Прямо, говоритъ, не могу тебѣ обѣщать.

Но такая тутъ Ванюшкѣ удача подошла. Планета такая ему, подлецу, выпала.

Назавтра, напримѣръ, приходитъ бухгалтеръ къ коммерческому директору, подкладываетъ ему бумажонку для подписи и говоритъ:

— Знаете, товарищъ директоръ, нынче безъ протекціи прямо гробъ.

— А что? — спрашиваетъ директоръ.

— Да такъ, — говоритъ бухгалтеръ, — есть тутъ мотается одинъ парнишка безъ протекціи, такъ не можетъ никуда ткнуться. А и намъ-то наврядъ ли можно его пихнуть.

— Да ужъ, — говоритъ директоръ, — безъ знакомства какъ его, дьявола, пихнешь. Худо ему безъ протекціи.

А тутъ директоръ-распорядитель входитъ.

— Объ чемъ, — говоритъ, — рѣчь.

— Да вотъ, — говорятъ, — товарищъ директоръ-распорядитель, парнишка тутъ есть одинъ. Леденцовъ фамилія, никакой протекціи у него, у подлеца, нѣту, не можетъ никуда ткнуться, все мотается.

Директоръ-распорядитель говоритъ:

— Ну, пущай къ намъ придетъ. Посмотримъ. Нельзя же, граждане, все по знакомству, да по знакомству. Надо же человѣчка и безъ протекціи уважить.

Такъ и уважили.

А говорятъ — всюду кумовство и протекціи. Вотъ бываетъ же...

РАЧИСЪ.

На-дняхъ поперли со службы стараго почтоваго спеца, товарища Крылышкина.

Тридцать лѣтъ принималъ человѣкъ иностранныя телеграммки и записывалъ ихъ въ особую книжицу. Тридцать лѣтъ служилъ человѣкъ по мѣрѣ своихъ силъ и возможностей. И вотъ нате вамъ! Подкопались подъ него враги, сковырнули съ насиженнаго мѣста и вытряхнули со службы за незнаніе иностранныхъ языковъ.

Оно, дѣйствительно, товарищъ Крылышкинъ этихъ иностранныхъ языковъ не зналъ. Насчетъ языковъ, какъ говорится, ни въ зубъ толкнуть. Но, между прочимъ, почтовое дѣло и иностранцы отъ этого факта ни капельки не страдали.

А бывало, какъ придетъ какая-нибудь телеграммка съ иностраннымъ названіемъ, такъ товарищъ Крылышкинъ, нимало не растерявшись, идетъ до какого-нибудь столика, до какой-нибудь тамъ дѣвицы, до какой-нибудь Вѣры Ивановны.

— Вѣра, — говоритъ, — Ивановна, да что жъ это такое? Совершенно, говоритъ, слабѣю глазами. Будьте говоритъ, добры — чего тутъ наляпано?

Ну, она ему говоритъ: изъ Лондона, напримѣръ.

Онъ возьметъ и запишетъ.

Или принесетъ телеграммку до какого-нибудь интеллигентнаго работника.

— Ну, — говоритъ, — и почерки же нынче пошли! Куры, говоритъ, и тѣ лучше ногами чиркаютъ. Нуте-ка, угадайте, чего тутъ обозначено? Нипочемъ не угадаете.

Ну, скажутъ ему: изъ какого-нибудь Мюнхена.

— Правильно, — скажетъ, а я думалъ, только спецы угадывать могутъ.

А другой разъ, когда спѣшка, товарищъ Крылышкинъ прямо къ публикѣ обращался:

— Тссс... молодой человѣкъ, подойдите-ка до окошечка, поглядите-ка, — чего тутъ нацарапано? У насъ промежду служащими острый споръ идетъ. Одни говорятъ то, другіе — это.

Тридцать лѣтъ сидѣлъ на своемъ посту герой труда, Петръ Антоновичъ Крылышкинъ, и вотъ, нате вамъ, вытряхнули.

А влипъ Петръ Антоновичъ Крылышкинъ по ничтожному поводу. Можно сказать, несчастный случай произошелъ. Немного не такъ записалъ онъ названіе города, откуда пришла телеграмма. А пришла телеграмма изъ города Парижа. И было на ней обозначено по-французски «Paris».

Петръ Антоновичъ, отъ чистаго сердца, возьми и подмахни — изъ города Рачиса.

Послѣ-то Петръ Антоновичъ говорилъ:

— Сбился, милый. Главное, названіе мнѣ показалось черезчуръ русскимъ — Рачисъ. И на старуху бываетъ проруха.

Тѣмъ не менѣе, взяли Петра Антоновича Крылышкина и вытряхнули.

А очень мнѣ его жалко! Ну, куда теперь дѣнется старый спеціалистъ по иностраннымъ языкамъ? Пущай бы досиживалъ!

ЧЕЛОВѢЧЕСКОЕ ДОСТОИНСТВО.

Бывшій швейцаръ Ефимъ Щуркинъ два года мотался по всѣмъ учрежденіямъ — искалъ службу. И, наконецъ, нашелъ по своей спеціальности.

Устроилъ ему мѣсто родной племянникъ, Мишка Гусевъ. Ефимъ Щуркинъ въ свое время его по щекамъ билъ и за уши рвалъ, а теперь это шишка, не переплюнешь.

Очень интересно Щуркину было разговаривать съ Мишкой. Сидѣлъ Мишка въ кабинетѣ и курилъ папироски. А Щуркинъ стоялъ возлѣ и, пытаясь разговаривать съ легкостью, почтительно кланялся. Но легкій разговоръ не удавался. Мишка Гусевъ велъ себя строго и для солидности не выпускалъ даже пера изъ рукъ.

— Что жъ, товарищъ дядя, — говорилъ Мишка строгимъ голосомъ, — валяйте, устраивайтесь. Мѣсто это легкое, нетрудное. А которые люди думаютъ, что эта должность унижаетъ человѣческое достоинство, то напротивъ того... Смотря какъ держать себя...

— Я держать себя знаю, — уныло сказалъ Щуркинъ. — Я пятнадцать лѣтъ въ швейцарахъ былъ...

— Это не разговоръ, — нахмурился Мишка. — Что было, то забудьте. Вы, какъ есть бывшій швейцаръ, должны знать, что теперя не та механика. И глядите, товарищъ дядя, чтобъ на чай не брать. И почтительность чтобъ не распущать, какъ раньше. Конечно, это не то, чтобъ по рожѣ людей бить, но достоинство свое не унижайте и соотвѣтствуйте своему назначенію.

— Ты меня не учи, — сказалъ Щуркинъ, — я самъ знаю свое достоинство.

— А если такъ, то валяйте, товарищъ дядя, — приступайте къ своимъ обязанностямъ.

Мишка обмакнулъ перо въ чернильницу, желая этимъ показать, что аудіенція кончена.

Щуркину хотѣлось еще поговорить кое о чемъ такимъ же строгимъ офиціальнымъ тономъ, но онъ не посмѣлъ и, кашлянувъ, вышелъ изъ кабинета, осторожно ступая на носки.

А на другой день Ефимъ Щуркинъ приступилъ къ своимъ обязанностямъ.

Онъ вычистилъ кирпичомъ дверныя ручки, обтеръ сырой тряпкой зашарканную лѣстницу и, мрачно посмѣиваясь въ усы, присѣлъ на табуретъ подлѣ дверей.

«Ладно, — думалъ Щуркинъ про своего племянника, — молодой, а учить меня вздумалъ. Достоинство, говоритъ, не потеряй. А я самъ знаю свое достоинство. Я, товарищъ Мишка Гусевъ, никому не позволю себя унизить. А которые, можетъ, думаютъ, что двери имъ настежь открывать буду, — забудьте... Я свое достоинство наобумъ знаю. Оставьте безпокоиться, товарищъ Мишка...»

Четырехъ часовъ Ефимъ Щуркинъ ждалъ съ нетерпѣніемъ. Въ четыре часа служащіе кончили работу.

— Ладно, ужъ, выходи, — бормоталъ Щуркинъ. — Выходи, кончай работу. По рожѣ мы васъ бить не станемъ, но унизить не допустимъ.. Выходи ужъ!

Въ четыре ровно Щуркинъ взялъ газету и, присѣвъ на табуретъ, вытянулъ свои ноги. И принялся читать.

Служащіе сначала выходили по одному.

— Выходи, выходи, — бормоталъ Щуркинъ, подмигивая, — жди, что двери открою, ожидай кукишъ съ масломъ.

Служащіе съ удивленіемъ смотрѣли на развалившуюся фигуру и осторожно обходили протянутыя щуркинскія ноги. Одинъ изъ служащихъ, слегка споткнувшись, извинился и шмыгнулъ въ дверь.

— Извиняются, — радостно подумалъ Щуркинъ. — А, небось, раньше бы въ рожу далъ. Будетъ, прошло времячко.

Служащіе выходили все гуще, мелькали передъ щуркинскими глазами, хлопали тяжелой дверью.

— Мелькай, мелькай, — бормоталъ Щуркинъ. — Это ваше дѣло мелькать.. Устраивай сквозняки. Простужай человѣка. Унижай личность...

Какой-то служащій, перешагнувъ черезъ ноги Ефима Щуркина, вышелъ на улицу, не прикрывъ за собой двери.

— Двери! — заоралъ Щуркинъ, выбѣгая вслѣдъ за служащимъ. — Двери закрывай. Тутъ вамъ нѣтъ горничныхъ. Чортъ собачій!

Служащій испуганно обернулся и, покорно закрывъ двери, пошелъ дальше, съ безпокойствомъ оглядываясь назадъ.

— Такъ его, — весело смѣялся Щуркинъ.

Маленькая дѣвица — машинистка, наряженная обезьяной, подошла къ двери и осторожно потрогала ее пальцемъ, пытаясь открыть. Дверь не поддавалась.

— Обожди, — сказалъ Щуркинъ, прижимая дверь ногою. —Обожди тутъ.Наберется партія въ десять человѣкъ —пущу тогда.

У дѣвицы отъ обиды задрожалъ подбородокъ, и Щуркинъ боясь, что она заплачетъ, нехотя выпустилъ ее.

«Надо будетъ записку приспособить къ дверямъ, — подумалъ Щуркинъ, — дескать, такъ и такъ — выходить партіями.

Щуркинъ пошелъ въ свою каморку и, доставъ бумагу, принялся выводить:

«Выходить партіями. По 10 персонъ. Привратникъ Ефимъ Щуркинъ.»

Однако, записку эту Щуркину не удалось присобачить къ дверямъ. Онъ былъ вызванъ къ Мишкѣ Гусеву.

Мишка Гусевъ долго Щуркина не задерживалъ. Онъ далъ ему денегъ и строгимъ официіальнымъ тономъ приказалъ ѣхать въ деревню.

Щуркину хотѣлось поговорить на официіальныя темы, но онъ снова не посмѣлъ и, вернувшись къ себѣ, принялся собирать свои вещи, бросая ихъ въ мѣшокъ, и сплевывалъ отъ обиды туда же.

СТАРАЯ КРЫСА.

Подписка на аэропланъ шла успѣшно.

Одинъ изъ конторщиковъ, старый воздушный спецъ дважды поднимавшiйся на колбасѣ, добровольно ходилъ по всѣмъ отдѣламъ и агитировалъ:

— Товарищи, — говорилъ спецъ, — наступаетъ новая эра.. Каждое учрежденiе будетъ обладать воздушнымъ передвиженiемъ въ лицѣ аэроплана... Ну и этого... подписывайтесь...

Служащiе подписывались охотно. Никто не спорилъ со спецомъ. Только въ одной канцелярiи, въ счетномъ отдѣлѣ, спецу пришлось столкнуться съ упорнымъ человѣкомъ. Этотъ упорный человѣкъ былъ счетоводъ Тетеркинъ.

Счетоводъ Тетеркинъ иронически усмѣхнулся и спросилъ спеца:

— На аэропланъ? Гм... А какой же это будетъ аэропланъ? Какъ же я такъ — здорово живешь — брошу на него деньги? Я, батенька, старая крыса.

— Позвольте, — кипятился спецъ, — аэропланъ. Ну, обыкновенный аэропланъ...

— Обыкновенный, — горько усмѣхнулся Тетеркинъ. — А, можетъ, онъ, тово, непрочный будетъ? Можетъ, на немъ полетишь, а его вѣтромъ шибанетъ, и пропали денежки? Какъ же я такъ, сдуру, ухлопаю на него деньги?... Я супругѣ швейную машину покупалъ, такъ я, имѣйте въ виду, каждое колесико ощупалъ... А тутъ какъ же? Можетъ, въ немъ пропеллеръ не тово, не крутится? А?

— Позвольте, — оралъ спецъ, — государственный заводъ строить будетъ! Заводъ!.. Заводъ!..

— Заводъ, — иронизировалъ Тетеркинъ. — Что жъ что заводъ? Я хоть на колбасѣ и не поднимался, но я, батенька, старая крыса, знаю. Другой заводъ денежки возьметъ, а толку нѣту... Да вы не машите на меня руками. Я заплачу. Мнѣ не жалко заплатить... Я ради справедливости говорю. А заплатить... Извольте. Вотъ я могу даже за Михрютина заплатить — въ отпуску онъ... Пожалуйста.

Тетеркинъ вынулъ кошелекъ, отсчиталъ по курсу рубль золотомъ за себя и четвертакъ за отсутствующаго Михрютина, расписался, снова пересчиталъ деньги и подалъ спецу.

— Нате... Только условіе, батенька: я самъ на заводъ пойду. Все-таки свой глазъ алмазъ, а чужой — стеклышко.

Тетеркинъ долго еще бубнилъ себѣ подъ носъ, потомъ принялся за счеты. Но работать отъ волненія не могъ.

Два мѣсяца послѣ того онъ не могъ работать. Онъ, какъ тѣнь, ходилъ за спецомъ, подкарауливалъ его въ коридорахъ, интересовался, какъ идетъ подписка, кто сколько далъ и гдѣ будутъ строить аэропланъ.

Когда деньги были собраны и аэропланъ заказанъ, счетоводъ Тетеркинъ, мрачно посмѣиваясь, пошелъ на заводъ.

— Ну какъ, братцы? — спросилъ онъ рабочихъ. — Идетъ дѣло?

— А вамъ что? — спросилъ инженеръ.

— Какъ что? — удивился Тетеркинъ. — Я ухлопалъ деньги на аэропланъ, а онъ спрашиваетъ... Тутъ батенька, аэропланъ у васъ строится для учрежденія... Мнѣ посмотрѣть нужно.

Тетеркинъ долго ходилъ по залу, разсматривалъ матеріалъ, пробовалъ его даже зубами и качалъ головой.

— Вы ужъ того, братцы, — говорилъ онъ рабочимъ, — прочный стройте... Я — старая крыса, знаю васъ... Всѣ вы мошенники. Сдѣлаете, а потомъ чего-нибудь этого... пропеллеръ не будетъ крутиться... Ужъ, пожалуйста, я, такъ сказать, матеріально заинтересованъ.

Тетеркинъ обошелъ еще разъ помѣщеніе, пообѣщалъ зайти и ушелъ.

Ходилъ онъ послѣ того на заводъ ежедневно. Иногда успѣвалъ забѣжать два раза. Онъ спорилъ, ругался. Заставлялъ мѣнять матеріалъ и иногда разсматривалъ чертежи въ кабинетѣ инженера.

— Послушайте, — сказалъ разъ инженеръ, мучаясь своей деликатностью, — вы ужъ, пожалуйста, какъ бы сказать... Мы сдѣлаемъ, не безпокойтесь... Не ходите зря... иначе мы должны отказаться отъ заказа... Вы, какъ представитель, сами понимаете...

— Позвольте, — сказалъ Тетеркинъ, — какой же я представитель? Выдумали тоже. Я частный человѣкъ. Ухлопалъ свои денежки на аэропланъ...

— А, — закричалъ инженеръ, — не представитель! А сколько, чортъ раздери, вы ухлопали?

— Сколько?.. Да рубль золотомъ я ухлопалъ.

— Какъ рубль? — испугался инженеръ, — рубль?

Инженеръ открылъ столъ и бросилъ Тетеркину деньги.

— Нате, чортъ раздери васъ, нате..

Тетеркинъ пожалъ плечами.

— Какъ вамъ угодно. Не хотите — не надо. Я не настаиваю. Я и въ другомъ мѣстѣ закажу. Я — старая крыса.

Тетеркинъ пересчиталъ деньги, спряталъ въ карманъ и ушелъ. Потомъ вернулся.

— Еще за Михрютина... — сказалъ Тетеркинъ.

— За Михрютина?.. — дико заоралъ инженеръ. — За Михрютина, старая крыса?!

Тетеркинъ испуганно прикрылъ дверь и торопливо пошелъ къ выходу.

Пропали денежки, — шепталъ Тетеркинъ. — Четвертакъ зажилилъ, прохвостъ... А еще инженеръ...

ХОЗРАСЧЕТЪ.

На праздникахъ бухгалтеръ Герюшкинъ устроилъ у себя званный обѣдъ. Приглашенныхъ гостей было немного.

Хозяинъ съ какимъ-то радостнымъ воплемъ встрѣчалъ гостей въ прихожей, помогалъ снимать шубы и волочилъ приглашенныхъ въ гостиную.

— Вотъ, — говорилъ онъ, представляя гостя своей женѣ, — вотъ мой лучшій другъ и сослуживецъ.

Потомъ, показывая на своего сына, говорилъ:

— А это, обратите вниманіе, балбесъ мой... Лешка. Развитая бестія, я вамъ доложу.

Лешка высовывалъ свой языкъ, и гость, слегка сконфуженный, присаживался къ столу.

Когда собрались всѣ, хозяинъ, съ нѣсколько торжественнымъ видомъ, пригласилъ къ столу.

— Присаживайтесь, — говорилъ онъ радушно. — Присаживайтесь. Кушайте на здоровье... Очень радъ... Угощайтесь...

Гости дружно застучали ложками.

— Да-съ, — послѣ нѣкотораго молчанія сказалъ хозяинъ, — все, знаете ли, дорогонько стало. За что ни возьмись — кусается. Червонецъ скачетъ, цѣны скачутъ.

— Приступу нѣтъ, — сказала жена печально, глотая супъ.

— Ей-Богу, — сказалъ хозяинъ, — прямо таки нѣту приступу. Вотъ возьмите такой пустякъ — супъ. Дрянь. Ерунда. Вода, вродѣ бы. А нуте-ка, прикиньте, чего эта водица стоитъ?

— М-да, — неопредѣленно сказали гости.

— Въ самомъ дѣлѣ, — сказалъ хозяинъ. — Возьмите другое — соль. Дрянь продуктъ, ерунда сущая, пустяковина, а нуте-ка, опять прикиньте, чего это стоитъ.

— Да-а, — сказалъ балбесъ-Лешка, гримасничая, — другой гость, какъ начнетъ солить, тыкъ тока держись.

Молодой человѣкъ въ пенснэ, передъ тѣмъ посолившій супъ, испуганно отодвинулъ солонку отъ своего прибора.

— Солите, солите, батюшка, — сказала хозяйка, придвигая солонку.

Гости напряженно молчали. Хозяинъ со вкусомъ ѣлъ супъ, добродушно поглядывая на своихъ гостей.

— А вотъ и второе подали, — объявилъ онъ оживленно. — Вотъ, господа, возьмите второе — мясо. А теперь позвольте спросить, какая цѣна этому мясу? Нуте-ка? Сколько тутъ фунтовъ?

— Четыре пять осьмыхъ, — грустно сообщила жена.

— Будемъ считать пять для ровнаго счету,—сказалъ хозяинъ. — Нуте-ка: по полтиннику золотомъ? Это, это на человѣка придется... Сколько насъ человѣкъ?

— Восемь, — подсчиталъ Лешка.

— Восемь, — сказалъ хозяинъ. — По полфунта... По четвертаку съ носа минимумъ.

— Да-а, — обиженно сказалъ Лешка, — другой гость мясо съ горчицей жретъ.

— Въ самомъ дѣлѣ, — вскричалъ хозяинъ, добродушно засмѣявшись, — я и забылъ — горчица... Нуте-ка, прикиньте къ общему счету горчицу, то, другое, третье. По рублю и набѣжитъ...

— Да-а, по рублю, — сказалъ Лешка, — а небось, когда Палъ Елисѣевичъ локтемъ стеклище выперъ, тыкъ, небось, набѣжало...

— Ахъ, да! — вскричалъ хозяинъ. — Приходятъ, представьте себѣ, къ намъ разъ гости, а одинъ, разумѣтся нечаянно, выбиваетъ зеркальное стекло. Обошелся намъ тогда обѣдъ. Мы нарочно подсчитали.

Хозяинъ углубился въ воспоминанья.

— А впрочемъ, — сказалъ онъ, — и этотъ обѣдъ вскочитъ въ копѣечку. Да это можно подсчитать.

Онъ взялъ карандашъ и принялся высчитывать, подробно перечисляя все съѣденное. Гости сидѣли тихо, не двигаясь, только молодой человѣкъ, неосторожно посолившій супъ, поминутно снималъ запотѣвшее пенснэ и обтиралъ его салфеткой.

— Да-съ, — сказалъ, наконецъ, хозяинъ, — рублей по пяти съ хвостикомъ...

— А электричество? — возмущенно сказала хозяйка. — А отопленіе? А Марьѣ за услуги?

Хозяинъ всплеснулъ руками и, хлопнувъ себя по лбу, засмѣялся.

— Въ самомъ дѣлѣ, — сказалъ онъ, — электричество, отопленіе, услуги... А помѣщеніе? Позвольте, господа, въ самомъ дѣлѣ, помѣщеніе! Нуте-ка — восемь человѣкъ, четыре квадратныя сажени... По девяносто копѣекъ за сажень... Въ день, значитъ, три копѣйки... Гм... Это нужно на бумагѣ...

Молодой человѣкъ въ пенснэ заерзалъ на стулѣ и вдругъ пошелъ въ прихожую.

— Куда же вы? — закричалъ хозяинъ. — Куда же вы, голубчикъ, Иванъ Семеновичъ?

Гость ничего не сказалъ и, надѣвъ чьи-то чужія галоши, вышелъ, не прощаясь. Вслѣдъ за нимъ стали расходиться и остальные.

Хозяинъ долго еще сидѣлъ за столомъ съ карандашомъ въ рукахъ, потомъ объявилъ:

— По одной пятой копѣйки золотомъ съ носа. Объявилъ онъ это женѣ и Лешкѣ — гостей не было.

ТОЧНАЯ ИДЕОЛОГІЯ.

Собраніе подходило къ концу.

Конторщикъ счетнаго отдѣленія Сережа Блохинъ долго откашливался, переступая съ ноги на ногу и, наконецъ, чувствуя, какъ душа его медленно уходитъ въ пятки, попросилъ слова.

— Можно. Говори, — сурово сказалъ предсѣдатель собранія.

Сережа влѣзъ на возвышеніе и испуганно взглянулъ на толпу.

Зубы его отбивали мелкую дробь.

— А-ба-ба, товарищи. — сказалъ Сережа Блохинъ, лязгая зубами. — Я про это, а-ба-ба, про то... Я, товарищи... предыдущаго оратора а-ба-ба...

Однимъ словомъ, конторщикъ Сережа Блохинъ хотѣлъ доложить собранію, что предыдущій ораторъ неправильно упрекаетъ служащихъ въ шаткости убѣжденій и въ отсутствіи терпимой и точной идеологіи. Сережа хотѣлъ сказать, что не боги горшки обжигаютъ и точная идеологія у всѣхъ имѣется.

Еще Сережа хотѣлъ добавить о коллективномъ строительствѣ государства, но растерялся, сказалъ три раза подрядъ а-ба-ба и сошелъ съ возвышенія.

Ну, что жъ! Не каждому человѣку отпущено краснорѣчіе и не каждый рожденъ для трибуны.

Сережа не былъ рожденъ для трибуны, а потому, стеревъ потъ со лба, Сережа ушелъ съ собранія нѣсколько подавленный своимъ смѣлымъ выступленіемъ и своимъ интересомъ къ общественнымъ задачамъ.

Сережа шелъ по улицѣ, размахивая руками, и мысленно громилъ своихъ противниковъ.

— Да-съ! — мысленно кричалъ Сережа. — Предыдущій ораторъ упрекаетъ насъ въ шаткости... А мы, товарищи, можемъ животы свои положить на алтарь отечества... Предыдущій ораторъ личности оскорбляетъ... Бейте его, товарищи! Хватайте предыдущаго оратора! Волоките его съ трибуны!..

Домой Сережа Блохинъ пришелъ поздно, и дома, глотая холодный супъ, дѣлился съ женой впечатлѣніями за день.

— Я, Луша, такъ имъ сказалъ, — говорилъ Блохинъ.— Я говорю: свинство упрекать насъ въ шаткости. Мы, говорю, можемъ животы свои отдать на алтарь отечества, если государству понадобится. А вы говорите — идеологіи у насъ нѣтъ! Эхъ, говорю, товарищи!... Ей-Богу, такъ и сказалъ...

Жена съ безпокойствомъ слушала Сережу, укоризненно покачивая головой.

— Вотъ ты, Луша, головой махаешь, — сказалъ Сережа, — пугаешься, небось, зачѣмъ это я, дескать, выступаю общественно и обвинительныя рѣчи говорю. А вѣдь нужно же кому-нибудь говорить... Нужно кому-нибудь слѣдить за общественнымъ интересомъ... А я такъ и сказалъ: оставьте, говорю, про насъ безпокоиться. Мы говорю, сами съ усами...

— Да брось ты про это распространяться, — обиженно прервала жена. — Ты вотъ лучше къ управдому сходи. Вѣдь цѣну-то какую намъ на квартиру назначили: четырнадцать рублей назначили...

— Какъ это? — спросилъ Сережа. — Почему это четырнадцать? Откуда это, если я служащій? Да ты не путаешь ли?

— Не путаю, — сказала жена. — Списокъ подъ воротами виситъ...

— Вотъ! — сказалъ Сережа, хватаясь за голову .— Видали, четырнадцать рублей! Да что жъ это? Нельзя же такъ! Я, Луша, на собраніи такъ и сказалъ: нельзя же, говорю, такъ, товарищи. Было бы, говорю, за что животъ

свой класть на алтарь отечества. А то, говорю, и класть-то не за что...

Жена съ испугомъ посмотрѣла на Сережу и сказала:

— Вотъ погоди — арестуютъ тебя за такія эти слова.

— И пущай! — сказалъ Сережа. — Пущай арестуютъ. Пущай въ Нарымскій край сошлютъ. Я не могу такъ больше... Мнѣ правда важна... Я такъ и сказалъ... Животъ, говорю, животомъ, а правда, говорю, важнѣе. Не могу, говорю, признать такое государственное строительство. Фу! Да не путаешь ли ты, Луша? Дай-ка я сбѣгаю къ управдому.

Сережа напялилъ шапку на голову и бросился изъ квартиры.

Черезъ пять минутъ Сережа вернулся, потирая руки.

— Спуталъ, чортъ лысый, — сказалъ Сережа. — Перепуталъ, говоритъ... Я ему все отпѣлъ. Я говорю: мы за васъ, чертей, на общественныхъ собраніяхъ выступаемъ, участвуемъ, такъ сказать, въ коллективномъ строительствѣ, а вы, говорю, что жъ это, уважаемый товарищъ?..

— Ну, а онъ что? — равнодушно спросила жена.

— Ну, а онъ хвостъ поджалъ. Ошибся, говоритъ. Девять, говоритъ, рублей съ вашей квартиры. То-то, говорю.

Сережа вздохнулъ съ облегченіемъ и принялся за прерванный обѣдъ.

ПАУКИ и МУХИ.

Дядя Семенъ выѣхалъ въ городъ порожнемъ.

Четыре часа подрядъ ѣхалъ онъ по шоссе и четыре часа подрядъ пѣлъ «Кари глазки». А подъѣзжая къ городу, долго, пока не вспотѣлъ, рылся за пазухой и, наконецъ, выволокъ оттуда табачный кисетъ съ деньгами.

Съ громадными предосторожностями и оглядываясь поминутно, дядя Семенъ сталъ считать.

«Три рубля будетъ стоить мануфактура, — думалъ Семенъ. — Кромѣ того, сахару и, напримѣръ, земляничнаго чаю... Кромѣ того...»

Вдругъ откуда-то сбоку вынырнулъ какой-то парень въ пиджачкѣ и въ кепкѣ. Парень однимъ махомъ сиганулъ черезъ канаву и подошелъ поближе.

— Подвези, папа, до городу, — сказалъ парень. — Усталъ чтой-то... можно?..

Семенъ испуганно сунулъ деньги обратно и сердито крикнулъ:

— Нѣту. Не можно. Проходи себѣ мимо... Не трожь телѣгу руками. Не трожь, говорю... Я тебѣ коломъ сейчасъ по башкѣ трахну.

— Ишь ты сурьезный какой! Характерный! — сказалъ парень, усмѣхаясь.

— Не характерный, — сказалъ Семенъ, — а мало ли... Можетъ, ты мнѣ, сукинъ котъ, сейчасъ сонныхъ капель дашь понюхать... Я не знаю... Нашего брата тоже очень даже просто завсегда объегориваютъ въ городахъ.

— Ну?

— Ей-Богу, — сказалъ Семенъ. — Въ нашенской деревнѣ, можетъ, ни одного мужика нѣту, который, значитъ, не всыпавшись.

— Ну?

— Истинная правда. У котораго, значитъ, лошадь угнали, которому что ни на есть дерьмо вручили замѣсто цѣнности. Мало ли... Пахому, скажемъ, не настоящую брошечку вручили. Три рубля псу подъ хвостъ кинулъ...

— Да что ты!

— Да я тебѣ говорю. Нашенскіе мужики прямо какъ летучія мухи, попадаются... Кромѣ меня... Не трожь, ей-Богу, телѣгу погаными руками! Иди вровень. Вотъ я тебя сейчасъ коломъ по башкѣ трахну.

— Ну, ну, — сказалъ парень. — Не трогаю. Я иду вровень. Не пужайся.

— Мнѣ пужаться нечего, — сказалъ Семенъ. — А только мнѣ пятьдесятъ три года. Мнѣ довольно позорно попадаться. Мнѣ мудрость мѣшаетъ попадаться. Я, можетъ, насквозь все знаю. Ты, парень, прямо говори: чего тебѣ, сукинъ котъ, надоть?

— Да мнѣ прямо ничего, дядя, — сказалъ парень, — не надо... Часы вотъ тутъ я хотѣлъ загнать за дешево...

Дядя Семенъ зажмурился и замахалъ руками.

— Уйди, — сказалъ Семенъ. — Нашенскіе мужики съ часами тоже много разъ попадались. Уйди, милый человѣкъ, окаянная твоя сила. Я пятьдесятъ три года безъ часовъ живу... Уйди... Я тебѣ коломъ башку сломаю.

Парень шелъ за телѣгой, усмѣхаясь.

— Хмурый какой, — сказалъ парень. — Часы-то вѣдь ходячіе, съ пробой!

— Да, съ пробой! — сказалъ Семенъ. — Можетъ, это ты зубомъ надкусилъ. Съ пробой!..

Парень протянулъ часы Семену.

— Да ты посмотри. Не лайся.

— Мнѣ не надо смотрѣть! — заоралъ Семенъ. — Мнѣ мудрость мѣшаетъ смотрѣть.

Черезъ часъ все-таки дядя Семенъ былъ хозяиномъ часовъ. Часы остановились сразу, какъ только парень слѣзъ съ телѣги и исчезъ изъ виду.

Семенъ сунулъ часы въ сѣно и хитро усмѣхнулся.

— Ладно, — сказалъ Семенъ. — Хотя стоячіе часы, а все-таки дешево. Чуть не даромъ... Мнѣ мудрость мѣшаетъ обмануться. Еще неизвѣстно, кто кого надулъ. Ѣдятъ его блохи...

А за мануфактуру дядя Семенъ расплачивался кусочками газетной бумаги.

Какъ бумага попала въ кисетъ — дядя Семенъ, при всей своей мудрости, такъ и не узналъ.

Онъ съ изумленіемъ вывернулъ свой кисетъ и каждый клочекъ бумаги разглядывалъ на свѣтъ и вылъ въ голосъ.

СИЛЬНОЕ СРЕДСТВО.

Гоорятъ, противъ алкоголя наилучше дѣйствуетъ искусство. Театръ, напримѣръ, карусель. Или какая-нибудь студія съ музыкой.

Все это, говорятъ, отвлекаетъ человѣка отъ выпивки съ закуской. И, дѣйствительно, граждане, взять для примѣру хотя бы нашего слесаря, Петра Антоновича Коленкорова. Человѣкъ пропадалъ буквально и персонально. И вообще жилъ, какъ послѣдняя курица.

По буднямъ послѣ работы ѣлъ и жралъ. А по праздникамъ и по воскреснымъ днямъ напивался Петръ Антоновичъ до крайности. Безпредѣльно напивался.

И въ пьяномъ видѣ дрался, вола вертѣлъ и вообще пьяные эксцессы устраивалъ. И домой лежа возвращался.

И ужъ, конечно, за всю недѣлю никакой культработы не несъ этотъ Петръ Антоновичъ. Развѣ что въ субботу въ баньку сходитъ, пополощется. Вотъ вамъ и вся культработа.

Родные Петра Антоновича отъ такого поведенія сильно разстраивались. Стращали даже.

— Петръ, — говорятъ, — Антоновичъ! Человѣкъ вы квалифицированный, не первой свѣжести, ну мало ли, въ пьяномъ видѣ трюхнитесь объ тумбу — разобьетесь же! Пейте нѣсколько полегче. Сдѣлайте такое семейное одолженіе.

Не слушаетъ. Пьетъ попрежнему и веселится.

Наконецъ, нашелся одинъ добродушный человѣкъ съ мѣсткома. Онъ, знаете ли, такъ и сказалъ Петру Антоновичу-

— Петръ, — говоритъ, — Антоновичъ, отвлекайтесь, я вамъ говорю, отъ алкоголю. Ну, говоритъ, попробуйте замѣсто того въ театръ ходить по воскреснымъ днямъ. Прошу васъ честью и билетъ вамъ дарма предлагаю.

Петръ Антоновичъ говоритъ:

— Ежели, говоритъ, дарма, то попробовать можно, отчего же? Отъ этого, говоритъ, не разорюсь, ежели то-есть дарма.

Упросили, однимъ словомъ.

Пошелъ Петръ Антоновичъ въ театръ. Понравилось. До того понравилось — уходить не хотѣлъ. Театръ уже, знаете, окончился, а онъ, голубчикъ, все сидитъ и сидитъ.

— Куда же, — говоритъ, — я теперя пойду, на ночь глядя? Небось, говоритъ, всѣ портерныя закрыты ужъ. Ишь, говоритъ, дьяволы, въ какое предпріятіе втравили.

Однако, поломался, поломался и пошелъ домой. И трезвый, знаете ли, пошелъ. То-есть ни въ одномъ глазу.

На другое воскресенье опять пошелъ. На третье — самъ въ мѣсткомъ за билетомъ сбѣгалъ.

И что вы думаете? Увлекся человѣкъ театромъ. То-есть первымъ театраломъ въ районѣ сталъ. Какъ завидитъ театральную афишку, — дрожитъ весь. Пить бросилъ по воскресеньямъ. По субботамъ сталъ пить. А баню перенесъ на четвергъ.

А послѣднюю субботу, находясь подъ мухой, разбился Петръ Антоновичъ объ тумбу и въ воскресенье въ театръ не пошелъ. Это было единственный разъ за весь сезонъ, когда Петръ Антоновичъ пропустилъ спектакль. Къ слѣдующему воскресенью, небось, поправится и пойдетъ. Потому — захватило человѣка искусство. Понесло.

ФОМА НЕВѢРНЫЙ.

Фома Крюковъ три года не получалъ отъ сына писемъ, а тутъ, извольте — получайте, Фома Петровичъ, изъ города Москвы, отъ родного сына пять цѣлковыхъ.

«Ишь ты, — думалъ Фома, разсматривая полученную повѣстку. — Другой бы сынъ, небось, три рубля отвалилъ бы и хватитъ. А тутъ, извольте— пять цѣлковыхъ. При такомъ оборотѣ рублишко и пропить можно».

Фома Крюковъ попарился въ банѣ, надѣлъ чистую рубаху, выпилъ полбутылки самогона и поѣхалъ на почту.

«Скажи на милость, — думалъ Фома дорогой, — пять цѣлковыхъ! И чего только не дѣлается на свѣтѣ! Батюшки-свѣты! Царей нѣту, ничего такого нѣту, мужикъ въ силѣ... Сынъ-то, можетъ, державой правитъ... По пять рублей денегъ отцу отваливаетъ... Или врутъ люди насчетъ мужиковъ-то? Ой, врутъ! Сынъ-то, можетъ, въ номерныхъ, въ гостиницѣ служитъ!»

Фома пріѣхалъ на почту, подошелъ къ прилавку и положилъ извѣщеніе.

— Деньги, — сказалъ Фома, — деньги мнѣ отъ сына дополучить.

Кассиръ порылся въ бумагахъ и положилъ на прилавокъ полчервонца.

— Такъ! — сказалъ Фома. — А письма мнѣ сынъ не пишетъ?

Кассиръ ничего не отвѣтилъ и отошелъ отъ прилавка.

«Не пишетъ, — подумалъ Фома. — Можетъ, послѣ напишетъ. Можемъ ждать, если, скажемъ, есть деньги».

Фома взялъ деньги, посмотрѣлъ на нихъ съ удивленіемъ и вдругъ стукнулъ ладонью по прилавку.

— Эй, дядя! — закричалъ Фома. — Каки деньги суешь-то, гляди?!

— Какія деньги? — спросилъ кассиръ. — Новыя деньги...

— Новыя? — переспросилъ Фома. — Можетъ, они, это самое, липовыя, а? Думаешь, выпившему человѣку все сунуть можно? Знаки-то гдѣ?

Фома посмотрѣлъ на свѣтъ, повертѣлъ въ рукѣ, потомъ опять посмотрѣлъ.

— Ну? — съ удивленіемъ сказалъ Фома. — Это кто тамъ такой есть? Изображенъ-то... Не мужикъ ли? Мужикъ. Ей-Богу, мужикъ. Ну? Не врутъ, значитъ, люди. Мужикъ изображенъ на деньгахъ-то. Неужели же не врутъ? Неужели же мужикъ въ такой силѣ?

Фома снова подошелъ къ прилавку.

— Дядя, — сказалъ Фома, — изображенъ-то кто? Извини за слова...

— Уходи, уходи! — сказалъ кассиръ. — Получилъ деньги и уходи къ лѣшему... Гдѣ изображенъ-то?

— Да на деньгахъ!

Кассиръ посмотрѣлъ на мужика и сказалъ, усмѣхаясь:

— Мужикъ изображенъ. Ты, ваше величество, замѣстъ царя изображенъ. Понялъ?

— Ну? — сказалъ Фома. — Мужикъ? А какъ же это я, дядя, ничего не знаю и ничего не вѣдаю? И землю пахаю. И всѣ у насъ пахаютъ и не вѣдаютъ.

Кассиръ засмѣялся.

— Ей-Богу, — сказалъ Фома. — Дѣйствительно, подтверждаютъ люди: дѣятели, говорятъ, теперь крестьянскіе. И крестьянство въ почетѣ. А какъ на дѣлѣ, вѣрно ли это или врутъ люди — неизвѣстно... Но если на деньгахъ портретъ... Неужели же не врутъ?

— Ну, уходи, уходи, — снова сказалъ кассиръ. — Не путайся тутъ.

— Сейчасъ, — сказалъ Фома. — Деньги только дай спрятать, съ портретомъ, ха... А я, дядя, имѣй въ виду, царей этихъ самыхъ и раньше не любилъ... Ей-Богу...

Фома съ огорченіемъ посмотрѣлъ на сердитаго кассира и вышелъ.

«Скажи пожалуйста, — думалъ Фома, — портретъ выводятъ... Неужели же мужику царскій почетъ?»

Фома погналъ лошадь, но у лѣса вдругъ повернулъ назадъ и поѣхалъ въ городъ.

Остановился Фома у вокзала, привязалъ лошадь къ забору и вошелъ въ помѣщеніе.

Было почти пусто. У дверей, положивъ подъ голову мѣшокъ, спалъ какой-то человѣкъ въ мягкой шляпѣ.

Фома купилъ на двѣ копѣйки сѣмячекъ и присѣлъ на окно, но, посидѣвъ минуту, подошелъ къ спящему и вдругъ крикнулъ:

— Эй, шляпа, слазь со скамьи! Мнѣ сѣсть надо...

Человѣкъ въ шляпѣ раскрылъ глаза, оторопѣло посмотрѣлъ на Фому и сѣлъ. И, зѣвая и сплевывая, сталъ свертывать папироску.

Фома присѣлъ рядомъ, отодвинулъ мѣшокъ и сталъ со вкусомъ жевать сѣмечки, сплевывая шелуху на полъ.

«Не врутъ, думалъ Фома. Почетъ, все-таки, замѣтный. Слушаютъ. Раньше, можетъ, въ рожу бы влѣпили, а тутъ слушаютъ, пугаются. Ишь ты, какъ все случилось, незамѣтно приключилось... Скажи на милость... Не врутъ».

Фома всталъ со скамьи и съ удовольствіемъ прошелся по залу. Потомъ подошелъ къ кассѣ и заглянулъ въ окошечко.

— Куда? — спросилъ кассиръ.

— Чего куда?

— Куда билетъ-то, дура-голова?

— А никуда, — равнодушно сказалъ Фома, разглядывая помѣщеніе кассы. — Могу я посмотрѣть внутре кассу, ай нѣтъ?

— А никуда, — сказалъ кассиръ, — такъ нечего и рыло зря пялить.

— Рыло? — обиженно спросилъ Фома. — Кому говоришь-то?

— Ишь пьяная морда! — сердито сказалъ кассиръ. — Тоже въ окно глядитъ... Чортъ сѣрый...

Фома нагнулся къ окошечку и вдругъ плюнулъ въ кассира и быстро пошелъ къ выходу.

Фому схватили, когда онъ отвязывалъ лошадь. Онъ вырывался, кричалъ, пытался даже укусить сторожа за щеку, но его неумолимо волокли къ дежурному агенту.

Тамъ, слегка успокоившись, Фома пытался что-то объяснить, размахивалъ руками, вынималъ изъ шапки деньги и предлагалъ агенту взглянуть на нихъ.

Но агентъ, ежесекундно макая перо въ пузырекъ, писалъ протоколъ объ оскорбленіи дѣйствіемъ кассира при исполненіи служебныхъ обязанностей. И еще о томъ, что Фома, находясь явно въ нетрезвомъ видѣ, ѣлъ въ закрытомъ помѣщеніи сѣмечки и плевалъ на полъ.

Фома поставилъ подъ протоколомъ крестикъ и, вздыхая и дергая головой, вышелъ изъ помѣщенія.

Отвязалъ лошадь, сѣлъ въ телѣгу, досталъ изъ шапки деньги и посмотрѣлъ на нихъ. Потомъ махнулъ рукой и сказалъ:

— Врутъ, черти...

И погналъ лошадь къ дому.

ИМЕНИННИЦА.

До деревни Горки было всего, я полагаю, версты три. Однако, пѣшкомъ итти я не рискнулъ. Весенняя грязь буквально доходила до колѣна.

Возлѣ самой станціи, у кооператива, стояла крестьянская подвода. Немолодой мужикъ въ зимней шапкѣ возился около лошади.

— А что, дядя, — спросилъ я, — не подвезешь ли меня до Горокъ?

— Подвезти можно, — сказалъ мужикъ. — Только даромъ мнѣ нѣтъ расчету тебя подвозить. Рублишко надо мнѣ съ тебя взять, милый человѣкъ. Дюже дорога трудная.

Я сѣлъ въ телѣгу, и мы тронулись.

Дорога, дѣйствительно, была аховая. Казалось, дорога была спеціально устроена съ тѣмъ тонкимъ расчетомъ, чтобы вся весенняя дрянь со всѣхъ окрестныхъ полей стекала именно сюда. Жидкая грязь покрывала почти полное колесо.

— Грязь-то какая, — сказалъ я.

— Воды, конечно, много, — равнодушно отвѣтилъ мужикъ.

Онъ сидѣлъ на передкѣ, свѣсивъ внизъ ноги, и непрестанно цокалъ на лошадь языкомъ.

Между прочимъ, цокалъ онъ языкомъ абсолютно всю дорогу. И только, когда переставалъ цокать хоть на минуту, лошадь поводила назадъ ушами и добродушно останавливалась.

Мы отъѣхали шаговъ сто, какъ вдругъ позади насъ, у кооператива, раздался истошный бабій крикъ.

И какая-то баба въ сѣромъ платкѣ, сильно размахивая руками и ругаясь, на чемъ свѣтъ стоитъ, торопливо шла за телѣгой, съ трудомъ передвигая ноги въ жидкой грязи.

— Ты что жъ это, бродяга! — кричала баба, доходя въ нѣкоторыхъ словахъ до полнаго визгу. — Ты кого жъ посадилъ-то, чортъ рваный? Абормотъ, горе твое лукавое!

Мой мужикъ оглянулся назадъ и усмѣхнулся въ бороденку.

— Ахъ, паразитъ-баба, — сказалъ онъ съ улыбкой, — кроетъ-то какъ!

— А чего она? — спросилъ я.

— А песъ ее знаетъ, — сказалъ мужикъ, сморкаясь, — Не иначе, какъ въ телѣгу ладитъ. Неохота ей, должно статься, по грязи хлюпать.

— Такъ пущай сядетъ, — сказалъ я.

— Троихъ не можно увезти, — отвѣтилъ мужикъ, — дюже дорога трудная.

Баба, подобравъ юбки до живота, нажимала все быстрѣй, однако, по такой грязи догнать насъ было трудновато.

— А ты что, съ ней уговорился, что ли? — спросилъ я.

— Зачѣмъ уговорился? — отвѣтилъ мужикъ. — Жена это мнѣ. Что мнѣ съ ней зря уговариваться?

— Да что ты? Жена? — удивился я. — Зачѣмъ же ты ее взялъ-то?

— Да увязалась баба. Именинница она, видишь, у меня сегодня. За покупками мы выѣхали. Въ кооперативъ.

Мнѣ, городскому человѣку, ужасно какъ стало неловко ѣхать въ телѣгѣ, тѣмъ болѣе, что именинница крыла теперь все громче и громче и меня, и моихъ родныхъ, и своего полупочтеннаго супруга.

Я подалъ мужику рубль, спрыгнулъ съ телѣги и сказалъ:

— Пущай баба сядетъ. Я пройдусь.

Мужикъ взялъ рубль и, не снимая съ головы шапки, засунулъ его куда-то подъ волоса.

Однако, свою именинницу онъ не сталъ ждать. Онъ снова зацокалъ языкомъ и двинулъ дальше.

Я мужественно шагалъ рядомъ, держась за телѣгу рукой, потомъ спросилъ:

— Ну, что жъ не сажаешь-то?

Мужикъ тяжко вздохнулъ:

— Дорога дюже тяжелая. Не можно сажать сейчасъ... Да ничего ей, бабѣ-то... Она у меня, дьяволъ, двужильная.

Я снова на ходу влѣзъ въ телѣгу и доѣхалъ до самой деревни, стараясь теперь не глядѣть ни на моего извозчика, ни на именинницу.

Мужикъ угрюмо молчалъ.

И только когда мы подъѣхали къ дому, мужикъ сказалъ:

— Дорога дюже тяжелая, вотъ что я скажу. За такую дорогу троякъ брать надо.

Пока я разсчитывался съ извозчикомъ и разспрашивалъ. гдѣ бы мнѣ найти предсѣдателя, — подошла именинница. Потъ съ нея — градомъ. Она одернула свои юбки и, не глядя на мужа, просто сказала:

— Выгружать, что ли?

— Конечно. выгружать, — сказалъ мужикъ. — Не до лѣту лежать товару.

Баба подошла къ телѣгѣ и стала выгружать покупки, унося ихъ въ домъ.

КРЕСТЬЯНСКІЙ САМОРОДОКЪ.

Фамилію этого самородка и крестьянскаго поэта я въ точности не запомнилъ. Кажется — Овчинниковъ. А имя у него было простое — Иванъ Филипповичъ.

Приходилъ Иванъ Филипповичъ ко мнѣ три раза въ недѣлю. Потомъ сталъ ходить ежедневно.

Дѣла у него были ко мнѣ несложныя. Онъ тихимъ, какъ у таракана, голосомъ читалъ свои крестьянскіе стишки и просилъ, по возможности скорѣй, пристроить ихъ по знакомству въ какой-нибудь журналъ или въ газетку.

— Хотя бы одну штуковину напечатали, — говорилъ Иванъ Филипповичъ. — Охота посмотрѣть, какъ это глядитъ въ печати.

Иногда Иванъ Филипповичъ присаживался на кровать и говорилъ, вздыхая:

— Къ поэзіи, уважаемый товарищъ, я имѣю склонность, прямо скажу, съ издѣтства. Съ издѣтства чувствую красоту и природу... Бывало, другіе ребята хохочуть, или рыбку удютъ, или въ пятачокъ играютъ, а я увижу, напримѣръ, бычка или тучку и переживаю... Очень я эту красоту сильно понималъ. Тучку понималъ, вѣтерокъ, бычка... Это все я, уважаемый товарищъ, очень сильно понималъ.

Несмотря на пониманіе бычковъ и тучекъ, стишки у Ивана Филипповича были весьма плохіе. Надо бы хуже, да не бываетъ. Единственно подкупало въ нихъ полное отсутствіе всякихъ рифмъ.

— Съ рифмами я стихотворенія не пишу, — признавался Иванъ Филипповичъ. — Потому съ рифмами съ этими одна путаница выходитъ. И пишется меньше. А плата все равно — одинъ чортъ, что съ рифмой, что безъ рифмы.

Первое время я честно ходилъ по редакціямъ и предлагалъ стишки, но послѣ и ходить бросилъ — не брали...

Иванъ Филиппповичъ приходилъ ко мнѣ рано утромъ, садился на кровать и спрашивалъ:

— Ну, какъ? Не берутъ?

— Не берутъ Иванъ Филипповичъ.

— Чего жъ они говорятъ? Можетъ, они, какъ бы сказать, въ происхожденіи моемъ сомнѣваются? То пущай не сомнѣваются — чистый крестьянинъ. Можете редакторамъ такъ и сказать: отъ сохи, дескать. Потому кругомъ крестьянинъ. И дѣдъ крестьянинъ, и отецъ, и которые прадѣды были — все насквозь крестьяне. И женились Овчинниковы завсегда на крестьянкахъ. Ей-Богу. Бывало даже смѣхъ вокругъ стоитъ — «да чего вы, говорятъ, Овчинниковы, все на крестьянкахъ женитесь? Женитесь, говорятъ, на другихъ...» «Нѣту, говоримъ, знаемъ, что дѣлаемъ». Ей-Богу, уважаемый товарищъ. Пущай не сомнѣваются...

— Да не въ томъ дѣло, Иванъ Филипповичъ. Такъ не берутъ. Не созвучно, говорятъ, эпохѣ.

— Ну, это ужъ они тово, — возмущался Иванъ Филипповичъ. — Это-то не созвучныя стихотворенія? Ну, это они объѣлись... Какъ не созвучные, разъ я съ издѣтства природу чувствовалъ? И тучку понималъ, бычка... За что же, уважаемый товарищъ, не берутъ-то? Пущай скажутъ. Нельзя же голословно оскорблять личности! Пущай хотя одну штуковину возьмутъ.

Натискъ поэта я стойко выдерживалъ два мѣсяца.

Два мѣсяца я, нервный и больной человѣкъ, отравленный газами въ германскую войну, терпѣлъ нашествія Ивана Филипповича изъ уваженія къ его происхожденію. Но черезъ два мѣсяца я сталъ сдавать.

И, наконецъ, когда Иванъ Филипповичъ принесъ мнѣ большую поэму или балладу, чортъ ее разберетъ, я окончательно сдалъ.

— Ага, — сказалъ я, — поэмку принесли.

— Поэмку принесъ, — добродушно подтвердилъ Иванъ Филиппповичъ, — очень сильная поэмка вышла... Два дня писалъ... Какъ прорвало. Удержу нѣтъ...

— Съ чего бы это?

— Да ужъ и не знаю, уважаемый товарищъ. Творчество нашло. Пишешь и пишешь. Руку будто кто водитъ за локоть. Вдохновенье...

— Вдохновенье! — сказалъ я. — Стишки пишешь... Работать нужно, товарищъ, вотъ что! Дать бы тебѣ камни на солнцепекѣ колоть, небось бы...

Иванъ Филипповичъ оживился и просіялъ:

— Дайте, — сказалъ онъ. — Если есть, то дайте. Прошу и умоляю. Потому до крайности дошло. Второй годъ безъ работы пухну. Хотя бы какую работишку найти...

— То-есть какъ? — удивился я. — А поэзія?

— Какая поэзія, — сказалъ Иванъ Филипповичъ тараканьимъ голосомъ. — Жрать надо... Поэзія!.. Не только поэзія, я. уважаемый товарищъ, чортъ знаетъ на что могу пойти... Поэзія...

Иванъ Филипповичъ рѣшительнымъ тономъ занялъ у меня трешку и ушелъ.

А черезъ недѣлю я устроилъ Ивана Филипповича курьеромъ въ одну изъ редакцій. Стишки онъ писать бросилъ.

Нынче ходитъ ко мнѣ бывшій дѣлопроизводитель табачной фабрики — поэтъ отъ станка.

Да что я — биржа труда, что-ли?

ПАРАЗИТЪ.

1

Живетъ на свѣтѣ такой Вася Кучкинъ. Писатель. Ничего себѣ — довольно способный парнишка. Талантъ въ немъ такъ и брызжетъ въ разныя стороны. Романы даже писать можетъ.

А однажды сдуру написалъ этотъ способный Вася Кучкинъ романъ.

Получилъ, конечно, за него монету.

Зажилъ.

Купилъ себѣ пальтишко съ воротникомъ и кровать.

На кровати валяется и пальтишкомъ прикрывается. Живетъ, что богатый.

2

«Кучкинъ-то нашъ, — подумалъ Васинъ управдомъ, — землю, сволочь, роетъ! Романы подлая душа, пишетъ. Польты съ воротниками ежедневно покупаетъ. Надо ему паразиту, на квартирку набавить. Чего съ нимъ стѣсняться?»

И набавилъ.

3

«Вотъ черти-то, — удивился Вася Кучкинъ, — на квартиры набавляютъ! Придется поднажать. Не выходитъ иначе».

И сталъ голубчикъ нашъ Вася Кучкинъ побольше работать. Разстарался, конечно, обмозговалъ сразу два ро-

мана. Продалъ. Зажилъ. Живетъ, что богатый. На кровати валяется и пальтишкомъ прикрывается.

4

«Эге, — подумалъ Васинъ фининспекторъ, — Кучкинъ-то, паразитъ, по два романа вразъ выпущаетъ! Надо будетъ обложить подлеца».

Ну, и обложили. И извѣщеньице ему любезно прислалъ. Дескать, съ васъ, милый, приходится...

5

«Худо, — подумалъ Вася, съ грустью разсматривая извѣщеніе. — Чѣмъ платить прикажете? Придется поднажать. Должно быть, маловато работаю. Нехватаетъ. Надо будетъ сонъ, что ли, сократить».

Ну, и поднажалъ. Обмозговалъ вразъ три романа и сценарій. Попыхтѣлъ, постарался. И продалъ.

6

«Живутъ же люди, — подумалъ Васинъ управдомъ, — по три романа, черти, пишутъ! А, промежду прочимъ, какъ ремонты, такъ на казенный счетъ норовятъ. Пущай-ка теперь этотъ чортовъ Кучкинъ за свои любезныя ремонтируетъ. Будетъ!»

7

«Дѣйствительно, — подумалъ фининспекторъ, разсматривая Васины балансы. — Богато живутъ люди. Жирѣютъ. Надо будетъ хвостъ накрутить».

8

«Господи, — подумалъ Вася Кучкинъ, хватаясь за голову. — Что дѣлается-то! Придется еще поднажать».

Поднажалъ. Обмозговалъ четыре романа и трагедію. Продалъ.

9

«Кучкинъ-то, — подумали родственники. — Ну, кто бы могъ думать? Такой пустяковый человѣкъ, а какъ, сволочь, въ гору пошелъ! Трагедіи пишетъ. Говорятъ, тыщи огребаетъ. Надо будетъ нагрянуть къ нему, пущай отвалитъ чего-нибудь на родственныхъ началахъ».

10

«Охъ! — подумалъ Вася Кучкинъ, — то-есть рѣшительно нехватаетъ. Надо будетъ поднажать. Одно жалко — котелокъ чтой-то плохо работаетъ».

11

«Ого! — подумалъ фининспекторъ, почтительно разглядывая Васины цифры. — Лопатой гребетъ! Надо будетъ...»

12

Братцы! Милые товарищи! Молочные братья? Каюсь. Никакого такого Кучкина и въ природѣ нѣтъ. Это я про себя написалъ. И вышла у меня, какъ видите, вродѣ какъ авторская исповѣдь.

Конечно, нѣтъ въ этой исповѣди — какъ у другихъ прочихъ писателей — ни великихъ переживаній, ни революціонныхъ этакихъ восторговъ, — есть одинъ, можно сказать, подлый коммерческій расчетъ. А что подѣлать? Не подняться намъ, видимо, съ мелкой своей натуришкой надъ прозой жизни!

БАРОНЪ НЕКСЪ.

Я, братцы мои, никогда особенно не любилъ бароновъ и графовъ, но въ своей жизни я все-таки встрѣтилъ одного умилительнаго барончика. Я и теперь, какъ вспомню о немъ, такъ смѣюсь, будто меня щекотятъ подъ мышками.

Фамилія-то у него нѣмецкая, но былъ онъ русскій человѣкъ по всѣмъ статьямъ. И даже мужиковъ любилъ.

А поѣхалъ я къ нему въ имѣніе, въ Орловскую губернію. И не одинъ я, а трое насъ поѣхало — спецовъ-водопроводчиковъ: я, Василь Тарасовичъ, да еще мастерокъ, мальчишка Васька.

Пріѣхали. Дѣловъ, видимъ, на копѣйку — трубы провести по саду. Только и всего. Втроемъ, положа руку на сердце, и дѣлать нечего. А условіе на мѣсяцъ.

Ладно. Работаемъ. Пища не плохая, чудная. Воздухъ и все такое — сущая благодать.

Но только проходитъ три дня — начали мы между собой обижаться и роптать. Что такое? Не отстаетъ отъ насъ баронъ ни на шагъ. Утромъ мы на работу — тутъ баронъ. Мы въ сторону — и баронъ въ сторону. Ходитъ мелкими шажками по аллейкамъ и цвѣты нюхаетъ.

Хорошо. Мы на кухню — баронъ за нами. Мы за столъ — и онъ садится. И сидитъ, что заяцъ. И на насъ смотритъ.

«Тьфу ты, — думаемъ, — въ ротъ ему клопъ! Неужеси же не довѣряетъ и слѣдитъ, чтобъ свинцовую трубу у него не сперли?»

Вотъ разъ мы вышли на работу, а Василь Тарасовичъ подмигнулъ намъ и вдругъ къ барону подходитъ. А въ рукѣ у него лопата.

Становится онъ къ барону грудь къ груди и говоритъ:

— Здравствуйте. Всѣмъ, говоритъ, мы довольны и премного вамъ благодарны, и все намъ тутъ вокругъ нравится, и дѣловъ на копѣйку, но, говоритъ, ежели вы къ намъ недо-

вѣріе имѣете и надъ нами держите контроль въ смыслѣ свинцовыхъ трубъ, то мы къ тому не привыкши. Разъ условіе — исполнимъ. А вамъ нечего ходить позади да цвѣтки нюхать.

Сказалъ — и лопату влѣво бросилъ: дескать, счастливо оставаться, прощайте.

Смотримъ — баронъ осунулся сразу: похудѣлъ, заморгалъ очами и говоритъ тихимъ басомъ:

— Что вы, говоритъ, братцы! Да рази я что? Я ничего. Рази я контроль держу? Нѣтъ, говоритъ, просто чувствую я себя въ вашемъ мужицкомъ обществѣ молодцомъ. У меня, говоритъ, и аппетитъ является, и сонъ, и бодрость. Вы, говоритъ, ужъ позвольте мнѣ вокругъ васъ находиться! Ужъ не обижайтесь!

Мы, конечно, посмѣялись.

— Ладно, — говоримъ. — Ежели съ этой стороны — пожалуйста. Дѣло ваше хозяйское.

А съ того дня и пошло все въ гору да круче. Дали мы согласіе на свою голову.

Утромъ, едва встали, глаза продрали — является нашъ баронъ.

— Не пора ли, — говоритъ, — братишки? Здравствуйте.

И самъ отъ нетерпѣнія ручки свои третъ и волнуется. И торопитъ.

Попьемъ чаю, выйдемъ на работу — баронъ ужъ тутъ. Интересуется ходомъ работы. И все пустяками. Только мѣшаетъ.

Поработаемъ, — пожалуйте, граждане, кушать. Присаживайтесь. Не стѣсняйтесь. Будьте какъ дома. Столъ роскошный. И все скоромное — щи или тамъ лапша. И все съ мясомъ.

Ну, а баронъ, конечно, тутъ же трется.

— Кушайте, — говоритъ, — дорогіе пріятели. Я, говоритъ, люблю, когда мастеровые мужички кушаютъ. Отъ этого, говоритъ, у меня аппетитъ является и сонъ.

Насмотрится на насъ, какъ мы лопаемъ, и велитъ себѣ приборъ нести. Начинаетъ кушать съ нами. Да только гдѣ жъ ему съ нами? Старичокъ онъ нѣжный, болѣзненный, ложку хлебнетъ, непремѣнно обожжется, захаркаетъ и дышитъ послѣ, что жаба. Смотрѣть на него неловко.

Покушали. Ладно. Пожалуйте на траву ложиться. А баронъ тутъ же. Хлопочетъ.

—Ложись, — говоритъ, робя, подъ вишнями.

Ну, ляжемъ — намъ что!

— Дыши, — говоритъ, — полнымъ ртомъ и выдыхай испорченный воздухъ. Это, говоритъ, полезно по гигіенѣ.

И самъ ляжетъ на спину и дышитъ ртомъ.

Ахъ, въ ротъ ему клопъ!

Ну, начнемъ и мы, ради смѣха, дышать, Дышимъ. Полонъ ротъ насѣкомой дряни наберется. Поплюемъ. послѣ посмѣемся и спать.

Проснулись — купаться, граждане. Къ пруду пожалуйте. Хочешь-не-хочешь — лѣзь.

Мы купаемся, а баронъ тутъ же полощется на берегу и хохочетъ отъ счастья.

И вотъ прожили мы этакимъ образомъ двѣ недѣли. И развезло насъ, что кабановъ. Ходимъ жирные, скучаемъ и работать не можемъ. А баронъ радъ и доволенъ.

Сперва и мы радовались. Дескать, вотъ какое райское мѣсто нашли. Все было смѣшно и въ диковинку. Ну, а послѣ наскучило. И до того наскучило — дышать нечѣмъ, до краевъ дошло. Дни считаемъ, когда окончимъ.

А тутъ еще баронъ придумалъ послѣднюю моду: велитъ вечеромъ по аллеямъ ходить мелкимъ шагомъ. Ходимъ мы по аллеямъ, что лошади, а уйти не можемъ — обижается...

Намъ-то еще ничего — ну ходимъ и ходимъ, а вотъ мастерокъ нашъ чуть не плачетъ. Мальчишка небольшой, шестнадцатилѣтній, ему бы, подлецу, въ рюшки играть, а тутъ, извините за выраженіе, ходи по аллеямъ.

И, конечно, дошло до краевъ. Бывало, мальчишка,

какъ увидитъ барона, такъ затрясется весь, зубами заскрипитъ.

— Я, — говоритъ, — ему, старому сычу, покажу! Я, говоритъ, ему, чорту драповому, напакощу.

И, дѣйствительно, сталъ мастерокъ барону пакостить. То клумбу съ цвѣтками ногами затопчетъ, то на веранду лягуху выпуститъ, то передъ барскими окнами въ кусты сядетъ. Хоть плачь...

Видимъ — не можетъ такъ продолжаться.

Поднажали мы поскорѣй съ работой, кончили въ три дня и докладываемъ:

— Окончили. Съ васъ приходится.

А баронъ чуть не плачетъ.

— Оставайтесь, — говоритъ, — голубчики. Мнѣ, говоритъ, еще нужно трубы проложить. А мастерокъ пущай пакоститъ — я потерплю.

— Нѣтъ, — говоримъ, — дудки.

— Ну, — говоритъ, — пріѣзжайте тогда на другое лѣто. Вотъ вамъ задатокъ.

Взяли мы задатокъ, покушали, полежали въ травѣ, собрали монатки и тронулись. Поѣхали. До свиданья! Счастливо оставаться! Не скучайте!

И вотъ ѣдемъ мы въ поѣздѣ и до самой Москвы толкуемъ про барона, вспоминаемъ и надъ Васькой издѣваемся. А у самой Москвы Васька намъ и говоритъ:

— Вы, говоритъ, надо мной не смѣйтесь. Я, говоритъ, все же чортова старика прищемилъ. Я ему напакостилъ.

— Да что ты? — спрашиваемъ.

— Ей-Богу! Я, — говоритъ, — на самое прощанье въ его конюшню влѣзъ, да тремъ лошадямъ хвосты начисто отстригъ.

Ахъ, въ ротъ ему клопъ!

Ну, потрепали мы Ваську за вихры, а самимъ смѣшно. Тѣмъ дѣло и кончилось.

А, можетъ, Васька и совралъ, сукинъ котъ. Можетъ, онъ изъ гордости сказалъ. Неизвѣстно это.

Только на другое лѣто къ барону не поѣхали.

МОНАСТЫРЬ.

Во святыхъ я, братцы мои, давненько не вѣрю. Еще до революціи. А что до Бога, то въ Бога пересталъ я вѣрить съ монастыря. Какъ побывалъ въ монастырѣ, такъ и закаялся.

Конечно, все это вѣрно, что говорятъ про монастыри — такіе же монахи люди, какъ и мы прочіе: и женки у нихъ имѣются, и выпить они не дураки, и повеселиться, но только не въ этомъ сила. Это давно извѣстно.

А вотъ случилась въ монастырѣ одна исторія. Послѣ этой исторіи не могу я спокойно глядѣть на вѣрующихъ людей. Пустяки ихняя вѣра.

А случилось это, братцы мои, въ Новодѣевскомъ монастырѣ.

Былъ монастырь богатый. И богатство свое набралъ съ посѣтителей. Посѣтители жертвовали. Бывало, осенью какъ понапрутъ всякіе вѣрующіе, какъ начнутъ лепты вносить — чертямъ тошно. Одинъ вноситъ за спасеніе своей души, другой за спасеніе плавающихъ и утопающихъ, третій такъ себѣ вноситъ — съ жиру бѣсится.

Многіе вносили — принимай только. И принимали. Будьте покойны.

Ну, а конечно, который внесетъ — норовитъ ужъ за свои денежки пожить при монастырѣ и почетомъ попользоваться. Да норовитъ не просто пожить, а охота ему, видите ли, къ святой жизни прикоснуться. Требуетъ и келью отдѣльную, и служку, и молебны.

Ублаготворяли ихъ. Иначе нельзя.

А только осенью келій этихъ никакъ нехватало всѣмъ

желающимъ. Ужъ простыхъ монаховъ вытѣсняли на время по сараямъ, и то было тѣсно.

А сначала было удивительно — съ чего бы это народъ сюда претъ? Что за невидаль? Потомъ выяснилось: была тутъ и природа богатая, климатъ, и, кромѣ того, имѣлась приманка для вѣрующихъ.

Жили въ монастырѣ два монаха молчальника, одинъ столпникъ и еще одинъ чудачокъ. Чудачокъ этотъ мухъ глоталъ. И не то, чтобы живыхъ мухъ, а настойку изъ мухъ пилъ натощакъ. Такъ сказать, унижалъ себя и подавлялъ свою плоть.

Бывало, съ утра пораньше народъ соберется вокругъ его сарайчика и ждетъ. А онъ, монахъ то-есть, выйдетъ къ народу, помолится, поклонится въ поясъ и велитъ выносить чашку. Вынесутъ ему чашку съ настойкой, а онъ снова поклонится народу и начинаетъ пить эту гнусь.

Ну, народъ, конечно, плюется, давится, которыя слабыя дамы блюютъ и съ ногъ падаютъ, а онъ, сукинъ котъ, вылакаетъ гнусь до дна, не поморщится, перевернетъ чашку, дескать, пустая, поклонится и къ себѣ. Только его и видѣли до другого дня.

Одинъ разъ пытались вѣрующіе словить его, дескать, не настоящая это настойка изъ мухъ. Но, оказалось вѣрно — честь-честью. Монахъ самъ показалъ, удостовѣрилъ и сказалъ народу:

— Что я Бога, что ли, буду обманывать?

Послѣ этого слава пошла о немъ большая.

А что до другихъ монаховъ — были они не такъ интересны. Ну, хотя бы молчальники. Ну, молчатъ и молчатъ. Эка невидаль!

Столпникъ тоже пустяки.

Стоитъ на камнѣ и думаетъ, что святой. Пустяки!

Былъ еще одинъ такой — съ гирькой на ногѣ ходилъ. Этотъ нравился народу. Одобряли его. Смѣшилъ онъ вѣрующихъ. Но только долго онъ не проходилъ — запилъ, гирьку продалъ и ушелъ во-свояси.

А все это, конечно, привлекало народъ. Любопытно было. Оттого и шли сюда. А шли важные люди. Были тутъ и фоны, и бароны, и прочая публика. Но изъ всѣхъ самый почетный и богатый гость былъ московскій купчикъ, Владиміръ Ивановичъ.

Много денегъ онъ всадилъ въ монастырь. Каялся человѣкъ. Грѣхи замаливалъ.

Я, — говорилъ онъ про себя, — всю жизнь грѣшилъ, ну а теперь пятый годъ очищаюсь.

А старенькій это былъ человѣкъ! Бороденка была у него совсѣмъ бѣлая. И, на первый взглядъ, онъ былъ похожъ на святого Кирилла или Мефодія. Чего такому-то каяться?

А пріѣзжалъ онъ въ монастырь часто.

Бывало, пріѣдетъ, остановитъ коляску версты за три и претъ пѣшкомъ.

Придетъ вспотѣвшій, поклонится братіи, заплачетъ. А его подъ ручки. Потъ съ него сотрутъ и водятъ вокругъ, и шепчутъ на ухо всякіе пустяки.

Ну, отогрѣется, проживетъ недѣльку, отдарится и снова въ городъ. А тамъ опять въ монастырь. И опять кается.

А каялся онъ прямо на народѣ. Какъ услышитъ монастырскій хоръ — заплачетъ, забьется: «Ахъ, я такой! Ахъ, я этакій!»

Очень на него хоръ дѣйствовалъ. Жалѣлъ только старикъ, что не дамскій это монастырь.

— Жаль, — говорилъ, — что не дамскій, а то я очень обожаю самое тонкое пѣніе сопранъ.

Такъ вотъ, былъ Владимиръ Ивановичъ самый почетный гость. А отъ этого все и случилось.

Продавалось рядомъ съ монастыремъ имѣніе. Имѣніе дворянское. «Дубки». Имѣніе удобное — земли рядомъ. Вотъ игуменъ и разгорѣлся на него. Монахи тоже.

Сталъ игуменъ вмѣстѣ съ экономомъ мозгами раскидывать—какъ бы имъ подобрать къ своимъ рукамъ. Да никакъ. Хоть и денегъ тьма, да купить нельзя. По закону не пока-

зано. По закону могъ монастырь землю получить только въ даръ.

Вотъ игуменъ и придумалъ механику. Придумалъ онъ устроить это дѣло черезъ Владитіръ Ивановича. Посѣтитель почтенный, сѣдой, — купитъ и подаритъ послѣ. Только и дѣловъ.

Ну, такъ и сдѣлали.

А купчикъ долго отнѣкивался.

— Нѣтъ, — говорилъ, — куда мнѣ! Отъ мірскихъ дѣлъ я давно отошелъ, мозги у меня не на то самое направлены, а на очищеніе и на раскаяніе — не могу, простите.

Но уломали.

Мраморную доску обѣщали приклепать на стѣнѣ съ заглавіемъ купчика. Согласился купчикъ.

И вотъ дали ему семьдесятъ тысячъ рублей золотомъ, отслужили молебствіе съ водосвятіемъ и отправили покупать.

Покупалъ онъ долго. Недѣлю. И пріѣхалъ назадъ въ монастырь вспотѣвшій и вродѣ какъ не въ себѣ. Пріѣхалъ утромъ. Съ экипажа не слѣзъ, къ игумену не пошелъ, а велѣлъ только выносить свои вещи изъ кельи.

Ну, а монахи, конечно, сбѣжались — увидѣли. И игуменъ вышелъ.

— Здравствуйте, — говоритъ. — Сходите.

— Здравствуйте, — говоритъ. — Не могу.

— Отчего же, — спрашиваетъ, — не можете? Не больны ли? Какъ, дескать, ваше самочувствіе и все такое?

— Ничего, — говоритъ Владиміръ Ивановичъ, — спасибо. Я, говоритъ, пріѣхалъ попрощаться да вещички коймакія забытыя взять. А сойти съ экипажа не могу — ужасно тороплюсь и вообще.

— А вы, — говоритъ игуменъ, — черезъ не могу. Какого чорта! Нужно намъ про дѣло говорить? Купили?

— Купилъ, — отвѣчаетъ купчикъ, — обязательно купилъ. Такое богатое имѣніе не купить грѣшно, отецъ настоятель.

— Ну, и что жъ? — спрашиваетъ игуменъ. — Оформить надо... Даръ-то...

— Да нѣтъ, — отвѣчаетъ купчикъ. — Я, говоритъ, раздумалъ. Я, говоритъ, не подарю вамъ это имѣніе. Развѣ мыслимо разбрасываться такимъ добромъ? Что вы?

Чего тутъ и было послѣ этихъ словъ — невозможно разсказать. Игуменъ, конечно, ошалѣлъ, носъ у него сразу заложило — ни чихнуть, ни сморкнуться не можетъ. А экономъ — мужчина грузный — освирѣпѣлъ, нагнулся къ землѣ и, за неимѣніемъ подъ рукой камня, схватилъ гвоздь этакій длинный, барочный, и бросился на Владиміръ Ивановича. Но не заколюлъ — удержали.

Владиміръ Ивановичъ поблѣднѣлъ, откинулся въ экипажѣ.

— Пущай, — говоритъ, — пропадаютъ оставленныя вещи.

И велѣлъ погонять.

И уѣхалъ. Только его и видѣли.

Говорили послѣ, будто онъ примкнулъ къ другому монастырю, въ другой монастырь началъ жертвовать, но насколько вѣрно — никто не знаетъ.

А исторія эта даромъ не прошла. Которые вѣрующіе монахи стали расходиться изъ монастыря. Первымъ ушелъ молчальникъ.

— Ну, — говоритъ, — васъ къ чертямъ собачьимъ!

Плюнулъ и пошелъ, хотя его и удерживали.

А засимъ ушелъ я. Меня не удерживали.

ВЕСЕЛАЯ ЖИЗНЬ.

1

Ахъ, милостивые мои государи и дорогіе товарищи! Поразительно это, какъ мѣняется жизнь и какъ все къ простотѣ идетъ!

Скажемъ, двѣсти лѣтъ назадъ, тутъ, на Невскомъ, ходили люди въ розовыхъ, въ зеленыхъ камзолахъ и въ парикахъ. Дамы этакими куклами прогуливались въ широченныхъ юбищахъ, а въ юбищахъ желѣзные обручи...

Теперь бы и подумать объ этомъ смѣшно, ну, а тогда была эта картина повседневная.

А, впрочемъ, и надъ нами черезъ сто лѣтъ посмѣются.

Вотъ, скажутъ, какъ нелегко было существовать имъ!

Мужчины на горлахъ воротнички этакіе тугіе стоячіе носили, дамы — корсеты...

И вѣрно. Смѣшно. А только и это уже уходитъ.

Все мѣняется, все идетъ къ простотѣ необыкновенной.

И не только это во внѣшней жизни, но и въ человѣческихъ отношеніяхъ.

Ну кто, какой человѣкъ вызоветъ меня на дуэль, если я обзову его дуракомъ? Никто.

А раньше за это до крови бились. Да что раньше.

Недавно это было. Недавно еще, скажемъ, битый офицеръ, да не только офицеръ, любой дворянинъ битый считалъ непремѣннымъ долгомъ застрѣлиться или застрѣлить обидчика.

Я вотъ вспоминаю старичка древняго. Генерала одного пѣхотнаго. Актриска его въ сердцахъ по физіономіи дернула. Такъ что жъ вы думаете?

Застрѣлиться хотѣлъ старичекъ. Плакалъ, тосковалъ всю ночь... Ну, да только кончилось все благополучно. Пережилъ старичекъ. И въ дальнѣйшемъ померъ отъ дизентеріи.

Ахъ, а смѣшная это была исторія! И не то, конечно, смѣшно, что актриса старичка ударила, а вся исторія передъ тѣмъ, вся веселая жизнь генеральская была необыкновенная.

2

Ахъ, милостивые мои государи! Невозможно безъ слезъ вспомнить объ этомъ человѣкѣ.

Нынче лежитъ онъ на Митрофаньевскомъ. Надъ нимъ камень могильный — ангелъ въ воскрыліи. Подъ ангеломъ надпись: отставной военный генералъ Петръ Петровичъ Танана.

Малюсенькій это былъ старичекъ, птичій. Вмѣсто волосъ — какія-то перышки. Носикъ продолжительный, птичій, и звали его повсюду, старичка этого, чижикомъ.

Были на немъ чины огромные и богатство довольно изрядное, а жилъ онъ, несмотря на это, до того грустно, что сказать невозможно.

Пятьдесятъ лѣтъ прожилъ онъ, прямо скажу, неслышно, а на пятьдесятъ первомъ году, передъ смертью, вдругъ измѣнился человѣкъ.

Раньше, бывало, генеральша полныя сутки оретъ на него, что павлинъ, а генералъ въ отвѣтъ ни полсловечка. Генералъ въ столовой на диванѣ ляжетъ, шинелькой прикроется и жмется. А тутъ, на 51 году, сталъ брыкаться. Генеральша, напримѣръ, голосомъ донимаетъ, а онъ въ людскую.

Тамъ у Васьки Дидюлина, у камердинера своего, сядетъ на кровать и только усмѣхнется горько:

— Вотъ, — скажетъ, — Вася, картина семейной жизни.

А Васька Дидюлинъ головой потрясетъ.

— Да, — скажетъ, — неинтересно вы живете, богатые люди!

А генералъ иногда съ нимъ спорить начнетъ.

— Что ты, братъ Дидюлинъ! Мы, богатые люди, тоже веселиться можемъ, только намъ нельзя все сразу. Ты вотъ погоди. Дай срокъ. Дотерпи до лѣта. Лѣтомъ мы съ тобой на Кавказъ поѣдемъ. Повеселимся ужасно какъ. Все равно, за тихую жизнь мнѣ никто спасибо не сказалъ. Ну, а нынче желаю пожить разгульно. До того буду яростно жить, что если Богъ есть на небѣ, или, напримѣръ, херувимы, такъ они содрогнутся.

И вотъ къ веснѣ генералъ и Дидюлинъ стали въ путь собираться.

3

А передъ отъѣздомъ зоветъ генералъ Дидюлина въ комнату.

— Вотъ, — говоритъ, — что, Вася! Сейчасъ мы съ тобой сходимъ по одному щепетильному дѣлу. Пока генеральша спитъ у себя въ креслахъ, бери поскорѣй эту корзину съ пищей и идемъ.

Взяли они корзину и пошли.

Петербургская сторона. У чорта на рогахъ... Въ шестнадцатомъ этажѣ... Звонятъ.

Старушонка дверь отворяетъ.

— Что, — спрашиваетъ, — нужно? Я пенсіонерка и держу меблированныя комнаты.

Генералъ отвѣчаетъ:

— Намъ нужно видѣть мамзель Зюзиль по щепетильному дѣлу.

— Это, — спрашиваетъ, — циркачку-то?

— Да. Наѣздницу и актрису мамзель Зюзиль.

И вотъ входятъ генералъ и Дидюлинъ въ комнаты. У зеркала циркачка сидитъ. Видъ у ней не ахти какой. Даже удивительно, какъ генералъ заинтересовался ей.

Увидѣла генерала, руками всплеснула .

— Ахъ, ахъ, — говоритъ, — не подходите, генералъ, я раздѣтая.

А генералъ:

— Ничего, что раздѣтая, я по щепетильному дѣлу.

— Ну такъ, — отвѣчаетъ, — садитесь тогда въ сторонку и произносите ваше дѣло. А я новьюшечку тѣмъ временемъ сниму, прическу причешу и снова буду красивая и изысканная.

Генералъ башлычекъ свой развернулъ. Подходитъ.

Имѣю, — говоритъ, — честь отрекомендоваться: военный генералъ Петръ Петровичъ Танана. Давеча сидѣлъ я въ первомъ ряду креселъ и видѣлъ всю подноготную. Я, военный генералъ, восхищенъ и очарованъ. Ваша любовь, мои же деньги — не желаете ли проѣхаться на Кавказъ? Нужно жить да радоваться. Развязывай, братъ Дидюлинъ, корзину.

У циркачки руки трясутся.

— Ахъ, ахъ, — отвѣчаетъ, — мерси, генералъ, не тревожьтесь безпокоиться. Не могу я такъ — разъ, разъ, по-воробьиному, рѣшиться на такое щепетильное дѣло. Я очень порядочная и за такія слова могу вразъ выгнать человѣка изъ помѣщенія.

Генералъ встаетъ.

— Нѣту, — говоритъ, — не выгоняйте, умоляю васъ. Я — военный генералъ Петръ Петровичъ Танана, и всякія обиды и, въ особенности, оскорбленія дѣйствіемъ мнѣ невозможно перенести.

— Ахъ, ахъ, — говоритъ циркачка, — извиняюсь, генералъ, я не хотѣла васъ обидѣть.

— Ну-съ, — говоритъ генералъ, — это ничего. Сердце у меня нѣжное и характеръ кроткій. Бѣги, братъ Дидюлинъ, въ полпивную, неси полдюжины пива. Нужно жить да радоваться.

Побѣжалъ Дидюлинъ въ полпивную, возвращается — сидятъ у зеркала генералъ съ циркачкой, будто новобрачные.

4

Вскорѣ послѣ того они и поѣхали.

Кисловодскъ. Высшее человѣческое пареніе.

Вотъ генералъ циркачкѣ и говоритъ:

— Ну, машеръ, машеръ, пріѣхали. Вотъ взгляните! Кисловодскъ. Кругомъ восхитительныя мѣста, кавказская природа, а это курсовые ходятъ.

А циркачка:

— Ну, — говоритъ, — и пущай себѣ ходятъ. Въ этомъ ничего нѣтъ удивительнаго. Давайте лучше квартиру снимать.

Снялъ генералъ квартиру, а циркачка черезъ улицу комнату. Живутъ.

Только замѣчаетъ генералъ: мамзель Зюзиль по этимъ мѣстамъ не слишкомъ шикарная, даже вовсе не шикарная. Однимъ словомъ, стерва.

Генералъ, напримѣръ, съ ней подъ ручку идетъ, а въ публикѣ смѣхъ. Тутъ кругомъ высшее общество, а она гогочетъ и ногами вскидываетъ.

Вотъ генералъ Дидюлину и говоритъ:

— Ну, говоритъ, братъ Дидюлинъ, я — военный генералъ Петръ Петровичъ Танана, а мнѣ съ циркачкой вмѣсто веселья одно лишь оскорбленіе выходитъ. Тутъ кругомъ высшее общество, а она дура такая, бисерный подзатыльникъ носитъ, гогочетъ и обнажается.

Дидюлинъ ему и совѣтуетъ:

— А вы, говоритъ, гоните ее и разговоръ весь.

Вотъ генералъ и согласился.

Приходитъ циркачка на другой день.

А Дидюлинъ:

— Пущать, — говоритъ, — не велѣно. Иди, говоритъ.

— Какъже, — говоритъ, — не велѣно? Если генералъ отъ меня въ полномъ восхищеніи?

— Ну, — говоритъ Дидюлинъ, — это вамъ какъ угодно. Приказано гнать въ шею.

Какъ услышала циркачка такія слова — затряслась. Визжитъ въ три горла. Даже сосѣди заинтересовались.

— Кто это, — спрашиваютъ, — визжитъ въ три горла?

А циркачка:

— Передайте, — кричитъ, — генералу, что я ему, курицыну сыну, за такое нахальство голову вырву при первой встрѣчѣ.

Покричала еще циркачка и ушла.

А очень тутъ испугался генералъ. Въ комнатѣ у себя заперся, шторку опустилъ.

— Ну, — говоритъ, — братъ Дидюлинъ, вонючій случай. Дама она настойчивая, что сказала — сдѣлаетъ. А если сдѣлаетъ, мнѣ помереть придется. Мнѣ, военному генералу, невозможно перенести оскорбленія. Лучше, говоритъ я изъ комнаты никуда не выйду. А ты ко мнѣ никого не впускай и дверь на цѣпкѣ держи.

5

Три дня прожилъ генералъ въ комнатѣ, не вылѣзая. На четвертый день осмѣлѣлъ — шторку поднялъ и сидитъ у окна, обѣдаетъ.

И видитъ — личность этакая штуковатая къ окну подходитъ.

Человѣкъ какой-то.

И шутъ его разберетъ — не то кавказецъ, не то русскій. На подбородокъ посмотришь — кавказецъ. Подбородокъ пикой. На носъ взглянешь — безусловно русскій. Носъ обыкновенный русскій, крылечкомъ выступаетъ.

Тутъ и генералъ заинтересовался такимъ смѣшеніемъ, изъ окна высунулся, вмѣсто того, чтобы шторку опустить.

А тотъ ближе подходитъ.

— Здравія, — говоритъ, — желаю. Имѣю, говоритъ, къ вамъ очень много чувствъ, дайте, говоритъ, за мои чувства тарелку супу. Я вамъ за ѣдой дѣльце разскажу.

Генералъ испугался.

— Вы, — говоритъ, — ко мнѣ не подходите близко и въ лицо не дуйте, я — военный генералъ Танана, и мнѣ это оскорбительно. Говорите на почтительномъ разстояніи.

— Ахъ, — говоритъ, — такъ! Ну, такъ извольте. Послѣ этого вы мнѣ прямой врагъ. Вы не смотрите, что носъ у меня обыкновенный, носъ этотъ мнѣ отъ матушки достался, а я настоящій гордый лезгинъ и за честь женщины всегда вступлюсь. Объявляю вамъ, надменному генералу, что если вы не удовлетворите капиталомъ обиженную мамзель Зюзиль, такъ она оскорбитъ васъ дѣйствіемъ публично. А что до меня, то заявляю: выжимаю лѣвой рукой три пуда, рука у меня тяжелая. Были даже смертельные исходы.

И ушелъ.

Генералъ сомлѣлъ, шторку опустилъ, сидитъ и трясется. Дидюлина зоветъ.

— Ну, — говоритъ, — братъ Дидюлинъ, вонючій случай. Дѣлу данъ непріятный оборотъ. Что дѣлать, я и ума не приложу. Чувствую только, что живымъ мнѣ теперь не быть. Ну, ударитъ она при публикѣ — мнѣ крышка, стрѣляться нужно. А если капиталъ ей дать, то опять-таки — какой капиталъ? Мало дашь — все равно ударитъ. Много дашь — передашь еще. Жалко. Погибъ я теперь, Дидюлинъ. Погубила меня веселая жизнь.

А Дидюлинъ ему и говоритъ:

— А вы, говоритъ, дайте ей три катеньки и еще пообѣщайте, а тамъ видно будетъ. Можетъ быть, мы соберемся, да и въ сторону.

Генералъ вынулъ три бумаги.

— Ладно, — говоритъ, — бѣги. Это ты прелестно придумалъ.

Вотъ Дидюлинъ и побѣжалъ.

6

А надо было такъ случиться, что, не доходя циркачки, армянская полпивная была. Духанъ, однимъ словомъ.

Вотъ Дидюлинъ бѣжитъ, деньги у него между пальцами шуршатъ и думаетъ онъ:

«Не малюсенькія, думаетъ, деньги, мать честная! Зайти, что ли, выпить стаканчикъ? Съ циркачки и двухъ бумагъ больно хватитъ».

Вотъ онъ и зашелъ. Выпилъ и еще выпилъ: и все на свѣтѣ забылъ. Гуляетъ на всѣ сто рублей.

А генералъ у окна сидитъ и природой любуется. Только проходитъ часъ и два. Дѣло къ вечеру. Нѣтъ Дидюлина.

Вотъ генералъ и думаетъ:

«Затекли ноги. Пройтись, что ли, по улицѣ?..»

Вышелъ онъ на улицу — хорошо. Идетъ по улицѣ — превосходно. Видитъ — паркъ.

«Зайду, — думаетъ, — въ паркъ. Волковъ бояться — въ лѣсъ не ходить».

Зашелъ въ паркъ. Кругомъ духовая музыка.

Вотъ генералъ и самъ не замѣтилъ, как за столикъ сѣлъ... Потребовалъ себѣ ѣды. Сидитъ, кушаетъ, музыкой восхищается.

«Ну, — думаетъ, — ничуть не страшно».

Только вдругъ видитъ: циркачка идетъ и лезгинъ рядомъ.

«Неужели, — думаетъ, генералъ, — мало ей трехъ катенекъ?»

А циркачка подходитъ къ столу.

— Что, — говоритъ, — не узнали, генералъ?

— Нѣтъ, отчего же, — отвѣчаетъ генералъ, — узналъ, машеръ, машеръ... И того, говоритъ, лезгина узналъ. Очень симпатичная личность.

— Ахъ, — говоритъ циркачка, — личность?

Съ этими словами генерала по сухонькой щекѣ наотмашь.

Упалъ генералъ въ траву и лежитъ битый въ тревожной позѣ. А лезгинъ схватилъ скатерть, сдернулъ — все бламанже на полъ рухнуло.

Захохотали они оба и ушли.

Стали тутъ курсовые подходить толпами.

Собрали генерала съ травы, положили на скатерть и домой отнесли.

7

Къ ночи Дидюлинъ домой явился пьяный.

Пришелъ къ генералу.

— Такъ и такъ. Прогулялъ денежки.

Ничего ему генералъ на это не сказалъ, только кивнулъ головой.

— Подай, — говоритъ, — сюда огнестрѣльное оружіе.

Дидюлинъ, пьяный, оружіе подалъ и къ себѣ.

Спать сразу свалился.

Только на утро вскакиваетъ, вспоминаетъ все.

« Ну, — думаетъ, — померъ генералъ. Вѣчный покой».

Вбѣгаетъ въ комнату, смотритъ: сидитъ генералъ на кровати и тоненько такъ смѣется. Весело.

— А, — говоритъ, — братъ Дидюлинъ! Я, говоритъ, на тебя не сержусь. Они хитры, но и я хитеръ. Если бы лезгинъ меня ударилъ, тогда — я бы застрѣлился. Ну, атутъ актриска ударила. Баба. А баба не считается... Ахъ ты, дураки какіе!

На другой день генералъ и Дидюлинъ уѣхали.

А въ дорогѣ покушалъ генералъ черезъ мѣру и померъ отъ дизентеріи.

ПОСЛѢДНІЙ БАРИНЪ.

1. Встрѣча.

Его, Гаврилу Васильевича Зубова, я встрѣтилъ въ Смоленскѣ.

Помню... Базаръ. Пшеничный хлѣбъ. Свиная туша. Бабы. Молоко... И тутъ же, у ларьковъ — толпа. Зрители. Хохочутъ. Бьютъ въ ладоши. А передъ зрителями человѣкъ.

Я подошелъ.

Былъ это необыкновеннаго вида человѣкъ: босой, слюноподобный, съ длинными, до плечъ, сѣдыми волосами. Онъ ходилъ этакимъ кренделемъ передъ толпой, рылъ ногами землю, билъ себя по животу, хрюкалъ, присѣдалъ, ложился въ грязь. Онъ танцовалъ.

Сначала я не понялъ. Понялъ, когда онъ взялъ съ земли дворянскую фуражку и сталъ обходить зрителей. Въ фуражку клали ему все, кромѣ денегъ: кусочки грязи, навозъ, иной разъ хлѣбъ. Хлѣбъ онъ тутъ же пожиралъ. Всѣ смѣялись. Но это не было смѣшно. Это было страшно — лицо его не улыбалось.

Я протискался ближе и вдругъ узналъ: это — Зубовъ. Помѣщикъ Гаврила Васильевичъ Зубовъ. Я вдругъ вспомнилъ: цугомъ двѣнадцать лошадей, гонецъ впереди — его выѣздъ, кровать подъ балдахиномъ, лакей, читающій ему Пушкина изъ сосѣдней комнаты (чтобъ не видѣть смерда!..)

Я положилъ въ шапку его хлѣбъ и сказалъ тихо:

— Гаврила Васильевичъ...

Онъ усмѣхнулся какъ-то хитро, въ носъ, и, взглянувъ на меня, отошелъ.

Да, это былъ Гаврила Зубовъ. Странный, необыкновенный человѣкъ. Послѣдній баринъ, которому слѣдовало бы жить при Екатеринѣ...

Я хотѣлъ было уйти, но вдругъ подошелъ ко мнѣ какой-то старичекъ. Былъ онъ чистенькій, опрятненькій, въ сюртукѣ. Въ рукѣ онъ держалъ коверъ: продавалъ.

Старичекъ высморкался въ розовый платокъ, поправилъ галстукъ, кашлянулъ и сказалъ почтительно:

— Извиняюсь, уважаемый товарищъ, вы изволили по имени назвать Гаврилу Васильевича... Вы знали сего человѣка?

— Да, — сказалъ я, — однажды я съ нимъ встрѣтился...

— Однажды! — закричалъ на меня старичекъ. — Однажды! Только однажды! Такъ, значитъ, о немъ вы ничего не знаете?

— Нѣтъ, — сказалъ я, — о немъ я кое-что слышалъ.

Старичекъ недовольно взглянулъ на меня.

— А что «Зубово» онъ сжегъ — знаете?

— Сжегъ «Зубово»? Нѣтъ, не знаю.

— Нѣтъ! — снова закричалъ старичекъ, размахивая руками. — Ну, такъ, значитъ, вы ничего не знаете... А про Ленку знаете? А какъ Гаврила Васильевичъ князя Мухина высѣкъ?

Старичекъ засмѣялся тоненько, поперхнулся, вынулъ розовый свой платокъ, высморкался и, взявъ меня подъ руку, сказалъ, показывая пальцемъ на Зубова:

— Сжегъ. Сжегъ свое «Зубово». Изъ великой гордости сжегъ, чтобы мужичкамъ ничего не досталось. И нагишомъ ушелъ. Въ бѣльѣ только. Даже кольцо съ пальца скинулъ и въ пожаръ бросилъ. Мужички по сіе время шуруютъ на пожарищѣ.

Старичекъ снова засмѣялся. На этотъ разъ онъ смѣялся продолжительно, дважды вытаскивалъ носовой платокъ, сморкался, махалъ рукой, вытиралъ себѣ слезы...

Я посмотрѣлъ на Гаврилу Васильевича. Онъ сидѣлъ на землѣ, поджавъ подъ себя ноги. Величайшее равноду-

шіе застыло на его лицѣ. Онъ тихо качался всѣмъ тѣломъ, и челюсти его медленно и равнодушно двигались: онъ жевалъ хлѣбъ.

2. Разсказъ старичка.

— Ахъ, уважаемый товарищъ, — сказалъ старичекъ, — много ли человѣкъ стоитъ? А стоитъ человѣкъ три копѣйки со всѣми своими качествами. Вотъ взгляните: сидитъ человѣкъ, сложивъ по-турецки ноги, — ему и горюшка никакого... Все забылъ, все не помнитъ, и другая кровь течетъ у него по жиламъ.

А кто это сидитъ, многоуважаемый товарищъ? А сидитъ это Гаврила Васильевичъ Зубовъ, самый, въ свое время, замѣчательный, самый наигордый человѣкъ во всей Россіи. Лѣтъ тому тридцать назадъ каждый сопливый мальчишка зналъ это имя. Жилъ онъ въ Москвѣ и не тѣмъ былъ замѣчателенъ, что золотомъ свыше одного милліона на француженокъ истратилъ, а былъ онъ замѣчателенъ необыкновенной своей гордостью.

Гордился онъ прямо-таки всѣмъ: фамиліей своей и ростомъ, и капиталомъ, и тѣмъ, что покойный царь съ нимъ въ шашки игрывалъ и по щекамъ его дружески хлопалъ...

Разные уморительные анекдоты существовали осъ его безмѣрномъ тщеславіи.

Разсказывали, будто въ любовницахъ всегда у него были самыя красивѣйшія женщины. Красивѣй всѣхъ. А одинъ извѣстный баронъ вывезъ откуда-то столь необыкновенно прекрасную дѣвицу, что сразу затмилъ Зубова. Не могъ перенести этого Зубовъ. За огромныя деньги перекупилъ онъ дѣвицу эту и всюду на показъ водилъ ее... А была дѣвица эта изъ мѣщаночекъ. И при чудной красотѣ своей имѣла руки мужицкія, красныя... Такъ два года передъ тѣмъ продержалъ ее Гаврила Васильевичъ взаперти и два года не снималъ съ нея кожаныхъ перчатокъ. А какъ снялъ, такъ руки стали у ней бѣлѣйшія, съ прожилками.

Ахъ, ей-Богу, до чего былъ гордый человѣкъ!

Разсказывали, будто на визитныхъ своихъ карточкахъ, кромѣ коронъ и всякихъ наименованій, печаталъ онъ собственный вѣсъ — 9 пудовъ. Но неизвѣстно, можетъ быть, это была неправда.

Извѣстно только, что въ сорокъ лѣтъ онъ не смогъ ужиться съ людьми и, по великой своей гордости и презрѣнію къ людямъ, выѣхалъ въ имѣніе свое «Зубово». И тамъ онъ отъ всѣхъ закрылся. Никуда не выѣзжалъ, къ нему никто не ѣздилъ. Наѣзжали, впрочемъ, къ нему разные некрупные помѣщики, но Гаврила Васильевичъ принималъ ихъ строго: называлъ на ты, руки не подавалъ и садиться передъ собой не приказывалъ. И всѣхъ считалъ дрянью, разночинцами или купчишками. Нѣкоторые дворянчики безмѣрно отъ того обижались, но ихняя обида оставалась при нихъ.

Пять лѣтъ прожилъ онъ сиднемъ, на шестой все и случилось. А пять лѣтъ онъ жилъ до того скучно, что будь это другой человѣкъ, непремѣнно бы онъ повѣсился.

Была у него въ любовницахъ Ленка — дѣвка простая и, какъ все равно индюшка, глупая. Жила она въ верхнемъ этажѣ, цѣлые дни кушала халву и грецкіе орѣхи и валялась на постеляхъ.

Гаврила Васильевичъ поднимался къ ней рѣдко. И даже въ такіе дни съ ней не разговаривалъ. Да и она сама передъ нимъ робѣла.

А день у него проходилъ отъ ѣды до ѣды. Днемъ, безъ всякой на то нужды, ходилъ Гаврила Васильевичъ по своимъ аппартаментамъ и на глаза никто не смѣлъ ему показываться. А къ вечеру, бывало, на кровать онъ свою ляжетъ, балдахиномъ прикроется и велитъ камердинеру Гришкѣ книги читать.

Сядетъ Гришка въ сосѣдней комнатѣ, дверь въ барскую опочивальню прикроетъ и оглушительнымъ басомъ кричитъ ему разныя повѣсти и романы.

Но иной разъ, въ добромъ душевномъ расположеніи, выходилъ Гаврила Васильевичъ въ садъ и приказывалъ палить изъ пушки. Стояла у него въ саду пушка старинная и

стрѣляла она каменными ядрами. Ну, стрѣльнутъ изъ нея разъ, другой, Гаврила Васильевичъ рукой махнетъ, — дескать, достаточно, будетъ, и снова въ свои аппартаменты. И ходитъ, и ходитъ, даже постороннихъ тоска беретъ.

Иной разъ устраивалъ Гаврила Васильевичъ балы. Да только это были совсѣмъ удивительные балы. Пятнадцать музыкантовъ на хорахъ трубили въ инструменты вальсы и мазурки, а Гаврила Васильевичъ одинъ во всемъ залѣ ходитъ взадъ и впередъ, въ кресла присаживается и опять ходитъ...

Такъ вотъ жилъ Гаврила Васильевичъ въ своемъ «Зубовѣ» побольше пяти лѣтъ. А былъ у него нѣкій человѣкъ, вродѣ какъ бы его приказчикъ или управляющій. Ходилъ этотъ приказчикъ за бариномъ своимъ въ трехъ шагахъ, въ разговоры не лѣзъ, молчалъ, какъ утопленникъ, и все припадалъ къ барской ручкѣ.

За это Гаврила Васильевичъ весьма его полюбилъ и даже приблизилъ. Его-то однажды Гаврила Васильевичъ позвалъ въ свои аппартаменты и сказалъ:

— Родъ мой древній и знаменитый, ежели въ ближайшіе сроки не женюсь, то окончится на мнѣ фамилія. Угаснетъ родъ. Что дѣлать — ума не приложу. А только требуется мнѣ невѣста хорошихъ кровей.

Бросились люди по всей губерніи... Стали разыскивать, опрашивать, гдѣ какая существуетъ дѣвица хорошихъ кровей, но нигдѣ не нашли. Все проживали мелкота и купчишки.

Стали наѣзжать къ Гаврилѣ Васильевичу старушки разныя. Бывало, такая старушка придетъ, Гаврила Васильевичъ ее приметъ, послушаетъ, а послѣ какъ по столу тяпнетъ.

— Да ты про что врешь?

— Какъ это вру? Предлагаю, дескать, дворяночку.

— Кому предлагаешь? Говори, кому предлагаешь. Кто я такой?

— Зубовъ. Помѣщикъ Зубовъ.

Гаврила Васильевичъ только усмѣхался.

— Зубовъ! А кто такой Зубовъ? Да знаешь ли ты, матушка, что Зубовъ въ бархатную книгу вписанъ? Да со мной императоръ не разъ въ шашки игралъ!.. Да лучше я на дѣвкѣ простой женюсь, чѣмъ дворяночкѣ поѣду кланяться.

Приказчику Гаврила Васильевичъ заявилъ:

— Ежели въ теченіе года невѣсты хорошихъ кровей не найду, то непремѣнно и обязательно женюсь на Ленкѣ. Пущай весь міръ погибаетъ!

А вскорѣ отыскали эту невѣсту. Явился человѣкъ и доложилъ:

— Проживаетъ въ десяти верстахъ за «Гнилыми Прудами» старая княгиня Мухина. Богатствомъ она не отличается, но кровей хорошихъ и превосходныхъ. При ней, дескать, дочка. А какова дочка, какой внѣшности и какой, напримѣръ, у ней носъ — никто не знаетъ. Можетъ быть, она и очень хороша, а, можетъ быть, и хроменькая — никто объ этомъ не знаетъ и ея не видалъ.

Ужасно тутъ обрадовался Гаврила Васильевичъ.

— Ладно, — говоритъ, — какая бы она ни была, но разъ хорошихъ кровей, то дѣло сдѣлано.

Приказалъ онъ изъ пушки стрѣлять и въ тотъ же день отбылъ къ князьямъ Мухинымъ.

Пріѣхалъ. Ждетъ. Старушка къ нему выходитъ. Старушка весьма гордая... Капотъ... Наколочка... Разговоръ все время французскій...

Посмотрѣлъ на нее Гаврила Васильевичъ — остался доволенъ. Кровей, думаетъ, хорошихъ. Сомнѣнья нѣту.

А она:

— Зачѣмъ, дескать, батюшка, пожаловали? По какимъ это дѣламъ? А мы-то тутъ сиднемъ сидимъ и изъ высшаго свѣта никого не видимъ.

Гаврила Васильевичъ ей отвѣчаетъ:

— Насчетъ высшаго свѣта я съ вами много не буду распространяться, я пожаловалъ сюда не мухъ ловить, а серьезное дѣло дѣлать. Примите мое предложеніе — прошу руки вашей дочери.

Старушка совершенно тутъ растерялась, про себя буб-нитъ, по аппартаментамъ мечется.

— Какъ? Что такое? Да развѣ вы знаете княжну Липочку?

— Нѣтъ, — отвѣчаетъ ей гордо Гаврила Васильевичъ, — княжну я не знаю и знать не хочу, а прошу ея руки заочно. Пущай входитъ и мнѣ представляется.

Ужасно тутъ забезпокоилась старушка.

— Охъ, — говоритъ, — если такъ, то сейчасъ, сейчасъ. Съ минутку обождите. Кушайте пока чай съ печеньями.

И сама за дверь вышла.

Осмотрѣлъ Гаврила Васильевичъ комнату. Видитъ, фамилія князей Мухиныхъ не богатая: все стоитъ развалившись, мебель и диваны рваные.

«Ну, — думаетъ, — мнѣ это все равно, не за мебелью я пріѣхалъ, мебель всегда заново обить можно, а мнѣ кровь важна».

И вотъ, выходитъ снова старушка съ дочкой, княжной Олимпіадочкой. Княжна хроменькая и собой столь ужасно некрасива, что и выразиться трудно. Носишко совсѣмъ малюсенькій, ротъ и тѣлосложеніе тѣмъ болѣе мизерное, волосенки жидкіе — ни кожи, ни рожи.

Осмотрѣлъ ее Гаврила Васильевичъ и говоритъ:

— Ну что жъ дѣлать! Мнѣ съ лица ея не воду пить. Отъ словъ своихъ не отрекаюсь — что сказалъ, то и свято. Приданымъ я интересуюсь мало — что дадите, то и ладно. Родъ мой старинный и знаменитый, и мнѣ не купчиха нужна, а кровь хорошая. Объявляю ее своей невѣстой.

Была княгиня Мухина хоть и небогатая, но претензій и апломбу у ней было много.

— Такъ-то такъ, — говоритъ, — но вы съ ней весьма мало знакомы, только разъ и видѣлись. Ни любви, ни романа, ни ревности — это даже странно и не по этикету. Но если вы такъ торопитесь, то напишу-ка я сегодня Володичкѣ въ гвардейскій полкъ, пусть надъ сестрой онъ самъ распоряжается.

А княжна Олимпіадочка по аппартаментамъ ходитъ, ножкой своей волочитъ и все соглашается.

— Ахъ, ма меръ, да пусть онъ женится, я согласна.

Гаврила Васильевичъ сказалъ:

— Ладно. Пишите письмо. Ждать я еще могу. — Сказалъ онъ еще нѣсколько свѣтскихъ словъ по-французски и съ тѣмъ и уѣхалъ.

Вотъ прошла недѣля, двѣ.. Гаврила Васильевичъ веселится, изъ пушки бьетъ, балы устраиваетъ...

Наконецъ — дежурный скачекъ. Докладываетъ: пріѣхалъ, дескать, князь Мухинъ, только съ парохода слѣзъ.

Цѣлыя сутки провелъ Гаврила Васильевичъ въ нетерпѣніи, на другой день велѣлъ собираться. Запрягли двѣнадцать лошадей, трубачъ впереди, сзади собакъ цѣлая свора — и тронулись.

Но не доѣхалъ еще Зубовъ до «Гнилыхъ Прудовъ», какъ велѣлъ остановиться. Остановились. Стоятъ.

Гаврила Васильевичъ думаетъ:

«Что жъ это я, какъ мальчишка, скачу? И къ кому? Къ какому-то офицеришкѣ! Я въ бархатную книгу вписанъ, со мной императоръ запросто въ шашки игралъ... Назадъ!»

Вернулся Гаврила Васильевичъ въ «Зубово», лишь одинъ скачекъ на княжескій дворъ пріѣхалъ. А во дворѣ князю, поручику Мухину, лошадей запрягаютъ. Разспросы: что? какъ? почему? Неизвѣстно. Велѣли распрягать.

Къ вечеру узнается: Гаврила Васильевичъ вернулся съ пути, не доѣхавъ до «Гнилыхъ Прудовъ».

Проходитъ день, два и три — оба, изъ гордости, сидятъ дома. Наконецъ, черезъ недѣлю князь Мухинъ присылаетъ въ «Зубово» скачка.

Сидѣлъ въ то время Гаврила Васильевичъ на балконѣ у Ленки и халву кушалъ.

Скачекъ съ лошади не слѣзъ и воротъ просилъ не запирать. Онъ посмотрѣлъ на Зубова съ нахальствомъ, шапки передъ нимъ не снялъ и сказалъ на весь дворъ громко:

— Его сіятельство, князь Мухинъ, велѣли доложить, что имъ чихать хочется на ваше благородство.

Гаврила Васильевичъ едва не выпалъ изъ балкона. А скачекъ еще сказалъ:

— Его сіятельство, князь Мухинъ, велѣли доложить, что въ свое время такихъ благородныхъ они на конюшняхъ парывали.

Услышали люди такія слова, вразъ попрятались, и, какъ ни кричалъ Гаврила Васильевичъ, изъ робости никто не вышелъ.

Какъ ударилъ тутъ скачекъ коня, такъ за воротами и скрылся вмигъ.

Въ ужасной ярости плевалъ Гаврила Васильевичъ внизъ, ногами билъ, кричалъ:

— Держи! Трави собаками!

Выбѣжалъ онъ самъ во дворъ, но скачекъ былъ далеко. Моментально приказалъ Гаврила Васильевичъ выкатить пушку на дорогу и велѣлъ стрѣлять.

Три раза заряжали пушку и стрѣляли вслѣдъ, но скачка ужъ и не видно было — только пыль вздымалась по дорогѣ.

Вернулся Гаврила Васильевичъ домой, поярился нѣсколько дней и вдругъ затихъ. Онъ призвалъ приказчика и сказалъ ему:

— Мнѣнія своего не измѣню. На хроменькой княжнѣ женюсь, но прежде ужасно оскорблю и унижу князя Владиміра. Но какъ это сдѣлать — ума не приложу.

Бросились тутъ люди и въ Петербургъ и въ Москву. За недѣлю разузнали, какъ и что. Доложили: проживаетъ князь, поручикъ Мухинъ, въ Петербургѣ, по кабакамъ ходитъ, кутитъ и въ деньгахъ черезчуръ нуждается.

И неизвѣстно, какъ ужъ дальше вышло — деньгами или хитростью, но собралъ Гаврила Васильевичъ противъ Мухина обличительные документы, расписки денежныя и даже подпись одну фальшивую.

Написалъ ему письмо. Пріѣзжайте, дескать, срочно, иначе угрожаетъ вамъ каторга.

Въ три дня обернулся князь Мухинъ и прибылъ въ «Зубово». Ужасно блѣдный, прошелъ онъ въ аппартамен-

ты Гаврилы Васильевича, почтительно ему поклонился, но сказалъ съ усмѣшкой:

— Вотъ, говоритъ, когда пришлось намъ свидѣться. Говорите скорѣй, что за документы требуете.

Гаврила Васильевичъ на поклонъ не отвѣтилъ, лишь усмѣхнулся только и говоритъ:

— Рѣшай: либо тебѣ въ каторгу итти и тѣмъ самымъ навѣкъ погибнуть, либо я тебя высѣку, документы отдамъ и на княжнѣ Липочкѣ женюсь.

Вскипѣлъ сначала князь Мухинъ, схватился даже за оружіе, стрѣлять хотѣлъ. Раздумалъ. хотѣлъ уйти, а тутъ дошелъ до двери, вернулся.

«Что жъ, — подумалъ, — я человѣкъ погибшій, изъ полка мнѣ все равно уйти, а тутъ, — либо покориться и тѣмъ самымъ документы вернуть и честное имя возстановить, либо въ каторгу».

Подошелъ онъ къ Гаврилѣ Васильевичу, говоритъ тихо:

— Дѣлайте, что хотите.

А самъ мундиръ снялъ, погоны отвязалъ, бросилъ ихъ на землю, растопталъ ногами...

Крикнулъ тутъ Гаврила Васильевичъ камердинера своего Гришку, велѣлъ ему стегать князя Мухина, но не дался Мухинъ.

— Нѣтъ, — говоритъ, — такого уговора не было, чтобъ меня лакей стегалъ.

Ужасно это понравилось Гаврилѣ Васильевичу, разсмѣялся даже.

— Ну, — говоритъ, — вижу, ты хорошихъ кровей. Хвалю. Но мнѣнія своего не измѣню.

Взялъ онъ съ этими словами арапникъ и самолично постегалъ князя Мухина.

Поднялся князь Мухинъ, дрожитъ. Накинулъ на себя мундиръ.

— Давайте, — говоритъ, — документы.

— Нѣтъ, — сказалъ Гаврила Васильевичъ, — документовъ я тебѣ не дамъ.

Страшно поблѣднѣлъ князь Мухинъ, заплакалъ съ досады, бросился во дворъ къ лошадямъ... Гаврила Васильевичъ его вернулъ.

— Да, — говоритъ, документовъ я тебѣ не дамъ. Пусть придетъ за ними сестра, княжна Липочка.

Заплакалъ снова отъ обиды князь Мухинъ, ничего не сказалъ и вышелъ.

И прошло нѣсколько дней, является княжна Липочка. Явилась она внѣ себя, пѣшкомъ, волосенки у ней сбились на сторону, идетъ — трясется.

Увидѣлъ ее изъ окна Гаврила Васильевичъ, усмѣхнулся, крикнулъ камердинера Гришку и велѣлъ передать ей бумаги. А самъ не вышелъ. Только глянулъ въ окно, какъ по двору она шла, постоялъ недолго, бросился послѣ къ воротамъ. Стоитъ и вслѣдъ смотритъ, нахмурившись. А княжна Липочка идетъ по дорогѣ, бумаги въ рукѣ зажала, торопится и по пыли за собой ножку волочитъ.

3. Конецъ.

Старичекъ вынулъ розовый свой платокъ, высморкался, вытеръ свои глазки и замолчалъ. Я взглянулъ на Гаврилу Васильевича. Онъ все еще сидѣлъ на землѣ .Онъ собиралъ крошки въ ладонь и высыпалъ ихъ въ ротъ.

— А дальше? — спросилъ я старичка.

— Все.

— Позвольте, а какъ онъ «Зубово» сжегъ — вы не разсказали. А Ленка что?..

Старичекъ посмотрѣлъ на меня косо.

— Ну и сжегъ, — сказалъ онъ. — Какъ про революцію услыхалъ, такъ и сжегъ. Сжегъ и васъ не спросилъ. И нагишомъ ушелъ... А вы тутъ кто такой?

— Позвольте, — удивился я, — вы же сами разсказывали...

— Разсказывалъ! — закричалъ старичекъ, насѣдая на меня. — А вы кто такой? Чего вамъ нужно? Съ флагами,

небось, ходили, идеи разныя разглашали, ну и проходите себѣ.. Не задерживайте людей разспросами.

Въ это время Гаврила Васильевичъ поднялся тяжело съ земли и, странно покачиваясь и дергая какъ-то ногами, пошелъ съ базара.

Мой старичекъ посмотрѣлъ на него, засуетился, махнулъ рукой и пошелъ отъ меня прочь.

— Позвольте, голубчикъ, — закричалъ я ему вслѣдъ. — А какъ же Зубовъ? Женился онъ на княжнѣ Липочкѣ?

Старичекъ остановился, вынулъ свой платокъ, покачалъ головой и сказалъ:

— Не женился. Утонула княжна Липочка. Какъ въ тотъ день изъ «Зубова» ушла, такъ и домой не вернулась. Въ «Гнилые Пруды» бросилась.

Старичекъ заморгалъ глазками, махнулъ рукой и вдругъ побѣжалъ.

Я долго смотрѣлъ ему вслѣдъ.

Онъ бѣжалъ, размахивая ковромъ, смѣшно подбирая ноги. Потомъ онъ поровнялся съ Зубовымъ, и они пошли вмѣстѣ.

ОГЛАВЛЕНІЕ